



Сергей Егорович Михеенков родился в деревне Воронцово Куйбышевского района Калужской области. Окончил Калужский государственный педагогический институт, Высшие литературные курсы. Служил в рядах Советской Армии. Публиковался в журналах «Подъём», «Москва», «Наш современник», «Юность», «Сура», «Аргамак». Автор многих книг прозы и исторической документалистики в изданиях «Вече», «ЭКСМО», «Молодая гвардия», «Центрполиграф». Биограф маршала Г.К. Жукова, И.С. Конева, К.К. Рокоссовского, певицы Лидии Руслановой. Живет в Тарусе.

Сергей Михеенков

ПИСАТЕЛЬСКАЯ РОТА

(О тех, кто к штыку приравнял перо)

ПРЕДИСЛОВИЕ

Это название — «Писательская рота» — конечно же, условное. Но и писательская рота была. В буквальном смысле этого сочетания слов, и оно, похоже, стало, как говорят языковеды, устойчивым. Была писательская рота. И даже не одна. Потому что в одну стрелковую роту все писатели, ушедшие добровольцами на фронт, в ее штат и списочный состав не вместились. Пришлось командованию формировать вторую. Они воевали под Вязьмой и попали в самую крошечную мясорубку первого вяземского сражения — и сгнули в первом вяземском окружении. А сколько писателей и поэтов воевали в других стрелковых ротах, в танковых частях, в партизанских отрядах и на боевых кораблях! Так что война сформировала и третью, и четвертую, и пятую...

Говорят, в годы Первой мировой войны в боях Франция потеряла триста молодых поэтов. И они, триста поэтов республики, одетые в солдатские шинели, удержали свои Фермопилы...

А еще говорят, что, когда Верховному Главнокомандующему доложили, что в боях слишком часто гибнут писатели и поэты, тот, отложив свою погасшую трубку, покачал головой и сказал:

— Они очень горячие люди. Им не терпится стать героями. Отзовите их с передовой. Пусть работают в редакциях газет. Там тоже нужны талантливые писатели и поэты.

Но не всех успели отозвать, многие уже погибли, стали инвалидами, калеками. Других не отзывали, потому что они были выдающимися солдатами, и командиры всеми способами старались удержать их в своих частях и подразделениях: они храбро и умело дрались, и заменить их было некем.

Но если это правда, то Сталин, как не суди, спас от гибели многих, кто потом создал целую литературу о войне, и не только о ней. И эта литература в истории мировой словесности уникальна и беспрецедентна. И хотя ни одна из книг военных писателей не отмечена Нобелевской премией, до некоторых пор являвшейся наивысшей и как бы эталонной, по художественным достоинствам многие из упомянутых здесь, в этом своде, стоят вровень с книгами Хемингуэя и Ремарка. А по достоверности изображаемого и правде жизни — куда выше многих лауреатов этой пока еще престижной литературной премии.

Каждый год в канун 9 Мая и 23 Февраля интернет заполняет коллаж: советские актеры, любимцы публики — участники Великой Отечественной войны, их портреты и ордена, которыми они были награждены за свои подвиги и раны. Их немного, по пальцам перечесть. И орденов немного. Но — неоспоримо! — они герои. Однако тут же всплывает закономерный вопрос: а почему забыли писателей? Их гораздо больше — целые взводы, роты. Может, целый батальон! И орденов гораздо больше. Среди них есть даже удостоенные звания Герой Советского Союза. Почему же их нет? Где их портреты — молодых, мужественных, с боевыми орденами на солдатских и офицерских гимнастерках?

Судьба каждого писателя-солдата — это отдельный и неповторимый сюжет, порою закрученный почище самого лихого приключенческого романа. И в то же время он намертво влит в судьбу и историю русского воинства, отстоявшего в 1941–1945 годах свою землю, свое Отечество и прославившего в очередной раз русское оружие и боевые знамена. Видимо, в том и суть — раствориться в общем подвиге победившего народа, стать незаметной, но неотделимой частью его.

Эта книга — поклон поколения сыновей и внуков солдат Великой Отечественной войны и одновременно слово признательности поколению наших учителей в русской и советской литературе.

Военная литература, созданная фронтовиками, — это просто книги о войне, хотя читатель в них найдет и точность деталей, и батальные сцены, и правдивое описание окопного быта; но самое ценное — это еще и литература о любви к Родине. Своего рода учебники на тему любви к своей земле. Учебники верности долгу, присяге, Отечеству.

Невозможно было в одну рукопись вместить судьбы всех писателей-фронтовиков. Здесь нет артиллериста Юрия Васильевича Бондарева, автора романов «Горячий снег» и «Берег», Василя Владимировича Быкова, создавшего жгучие в своей человеческой правде повести «Сотников», «Третья ракета», «Альпийская баллада», Виктора Петровича Астафьева, Михаила Петровича Лобанова, многих других. Это — только начало проекта издательства «Молодая гвардия». Их судьбы и истории — впереди.

ЮЛИЯ ДРУНИНА

«Я РОДОМ НЕ ИЗ ДЕТСТВА, ИЗ ВОЙНЫ...»

1

Родилась 10 мая 1924 года в Москве в семье интеллигентов. Отец — учитель истории, мать — библиотекарь, подрабатывала частными уроками музыки. Жили в тесной коммуналке. Друнина вспоминала, что особенно сильным было влияние отца, который с самых ранних лет прививал дочери любовь к книге, к чтению — «от Гомера до Достоевского». А она украдкой читала романы Дюма и Чарской. Ей казалось, что классика слишком громоздка и официальна и самую глубину и искренность чувств читателю не открывает.

Своим идеалом Юлия избрала кавалерист-девицу Надежду Дурову. С детства дружила с мальчиками. Даже косу себе отрезала вместе с бантом!

В 1931 году Юлия пошла в школу. Уже тогда писала стихи. Украдкой. Вскоре пришла в литературную студию, которая работала при Центральном доме художественного воспитания детей, находившегося в здании театра юного зрителя. Через несколько лет стала победительницей литературного конкурса на лучшее стихотворение. Стихотворение «Мы вместе за школьной партией сидели...» напечатала «Учительская газета». Оно прозвучало по Всесоюзному радио. Ранний успех! «И никогда я не сомневалась, что буду литератором, — вспоминала Друнина. — Меня не могли поколебать ни серьезные доводы, ни ядовитые насмешки отца, пытающегося уберечь дочь от жестоких разочарований. Он-то знал, что на Парнас пробиваются единицы. Почему я должна быть в их числе?..»

Отец Юлии, Владимир Друнин, писал стихи и даже скромно издавался. Уж он-то знал, какой это трудный и скудный хлеб и какая горькая участь — быть поэтом. Неверие отца, попытки отвести от опасной, но захватывающей стези папину дочку ранило, но не лишало крыльев.

Поколение родившихся в начале 20-х — роковое поколение. Оно впитало романтику гражданской войны как яркое героическое прошлое своих отцов и энтузиазм строительства нового общества как царства справедливости, в котором всегда есть место подвигу и возможности реализоваться самым светлым помыслам. Жестокий век развеет их юношеские грезы, но это будет потом.

«Спасение челюскинцев, тревога за плутающую в тайге Марину Раскову, покорение полюса, Испания — вот чем жили мы в детстве. И огорчались, что родились слишком поздно...»

В 1941-м это поколение станет поколением добровольцев.

Школьный выпускной совпал с началом войны. Пошла в военкомат. Ее, семнадцатилетнюю, из этого сурового учреждения попросту прогнали. Подростки валом валили тогда в военкоматы, просились на войну — бить фашистов, спасти страну. Вначале к ним относились снисходительно, потом они начали мешать работать, а потом...

Юлия завидовала своим подругам, которые были старше нее на год: их зачисляли на курсы санинструкторов, радистов, авиатехников, и они могли вскоре попасть в действующую армию.

Эти переживания вскоре переплавятся в стихи:

Какие удивительные лица
Военкоматы видели тогда!
Текла красавиц юных череда <...>

Все шли и шли они —
Из средней школы,
С филфаков,
Из МЭИ и из МАИ,
Цвет юности,
Элита комсомола,
Тургеневские девушки мои!

2

В конце концов, добилась зачисления на курсы медсестер и она. Какое-то время работала санитаркой в глазном госпитале. А потом была зачислена в отряд, который направлялся на запад от столицы на строительство оборонительных сооружений. Рыли окопы и противотанковые рвы.

Фронт приближался. На недостроенные объекты начали налетать немецкие самолеты, бомбить, обстреливать из пулеметов. Случались и агитационные налеты — снег листовок падал на рвы и окопы, где притаились испуганные девушки:

Московские дамочки,
Не копайте ямочки.
Приедут наши таночки
И зарюют ваши ямочки.

Какие никакие, а тоже — стихи.

А потом начались бомбежки. Во время одной из них прошел слух, что в их район прорвались немецкие танки и через несколько минут они будут здесь. Девушки бросили лопаты и начали разбегаться кто куда. В суматохе Юлия потерялась. Сколько ни плутала по лесу, своего отряда найти так и не смогла. Вскоре набрела на группу красноармейцев. Это были остатки стрелкового батальона, который прорывался из окружения. Некоторые бойцы были в кровавых бинтах. Они нуждались в перевязке. Юлия начала перевязывать их. Молодой комбат, который вел отряд, понимая ее положение, предложил идти вместе с ними. Сказал: «Будете санитарструктором». Она, конечно же, согласилась.

Тринадцать суток пробирались они по лесам мимо занятых немцами деревень к линии фронта, к своим. «Мы шли, — вспоминала Юлия Друнина, — ползли, бежали, натываясь на немцев, теряя товарищей, опухшие, измученные, ведомые одной страстью — пробиться! Случались и минуты отчаяния, безразличия, отупения, но чаще для этого просто не было времени — все душевные и физические силы были сконцентрированы на какой-нибудь одной конкретной задаче: незаметно проскочить шоссе, по которому то и дело проносились немецкие машины, или, вжавшись в землю, молиться, чтобы фашист, забредший по нужде в кусты, не обнаружил тебя, или пробежать несколько метров до спасительного оврага, пока товарищи прикрывают твой отход. А надо всем — панический ужас, ужас перед пленом. У меня, девушки, он был острее, чем у мужчин. Наверное, этот ужас здорово помогал мне, потому что был сильнее страха смерти».

Один из биографов поэтессы писал, что «именно там, в этом пехотном батальоне — вернее, в той группе, что осталась от батальона, попавшего в окружение, — Юля встретила свою первую любовь, самую возвышенную и романтическую. В стихах и в воспоминаниях она называет его Комбат — с большой буквы. Но нигде не упоминается его имени. Хотя память о нем пронесла через всю войну и сохранила навсегда. Он был не намного старше ее... Красивый парень с голубыми глазами и ямочками на щеках. А может, красивым он стал потом, в воспоминаниях поэтессы, в ее воображении: «...конечно, помогла моя вера в Комбата, преклонение перед ним, моя детская влюбленность. Наш Комбат, молодой учитель из Минска, дей-

ствительно оказался человеком незаурядным. Такого самообладания, понимания людей и таланта молниеносно выбрать в самой безнадежной ситуации оптимальный вариант я больше не встречала ни у кого, хотя повидала немало хороших командиров. С ним солдаты чувствовали себя как за каменной стеной, хотя какие «стены» могли быть в нашем положении?»»

После долгого пути и стычек с немцами в отряде осталось девять человек. Включая Комбата и санинструктора. Вышли к фронту. Вначале надо было пройти немецкие окопы. Выслали разведку. Разведка вернулась: окопы заняты немецкой пехотой, но есть разрыв, где немцев нет — минное поле. Первым пошел Комбат. Мины оказались противотанковыми, на вес человека взрыватели не срабатывали. За Комбатом пошли остальные. Когда поле, казалось, уже было пройдено, началась полоса противопехотных мин. Комбат и двое бойцов, которые шли за ним, погибли. Юлия шла четвертой и уцелела.

«Мина, убившая Комбата, — вспоминала она, — надолго оглушила меня. А потом, через годы, в стихах моих часто будут появляться Комбаты...»

«Мина, убившая Комбата, надолго оглушила меня...» Надолго... На всю жизнь... Только не оглушила душу, наоборот, сделала чуткой — к страданиям своего поколения. К пережитому им, этим суровым поколением.

КОМБАТ

Когда, забыв присягу, повернули
В бою два автоматчика назад,
Догнали их две маленькие пули —
Всегда стрелял без промаха комбат.
Упали парни, ткнувшись в землю грудью,
А он, шатаясь, побежал вперед.
За этих двух его лишь тот осудит,
Кто никогда не шел на пулемет.
Потом в землянке полкового штаба,
Бумаги молча взял у старшины,
Писал комбат двум бедным русским бабам,
Что... смертью храбрых пали их сыны.
И сотни раз письмо читала людям
В глухой деревне плачущая мать.
За эту ложь комбата кто осудит?
Никто его не смеет осуждать!

3

И вот она в Москве.

Осень. Октябрь. Москва переживает тяжелейшие дни. Немецкие танки в тридцати километрах от города. В городе паника. Погромы. Народ грабит магазины и склады. Дезертиры. Патрули. Комендантский час.

Родители Юлии уехали в эвакуацию, в Сибирь, в далекий поселок, название которого и запомнить невозможно. Юлия снова начала осаждать военкомат, убеждать военкома зачислить ее в штат какой-нибудь части, направляющейся на фронт. Ну и что, что нет восемнадцати! Она должна быть на фронте! Ведь она там уже была!

Пришло письмо от мамы: отец смертельно болен, лежит, ждет дочь... Поехала. Отец лежал парализованный и медленно угасал. Он умер в начале 1942 года. После похорон отца Юлия поняла, что больше ничто в эвакуации ее не держит. С матерью отношения всегда были сложными. Она уехала в Хабаровск и там поступила на курсы в школу младших авиаспециалистов. Школа готовила авиатехников. Заправка самолета горючим, подготовка пулеметов...

Однажды старшина-инвалид объявил, что всю их команду переводят в женский запасной полк: «Будете там, как положено бабам, мужиков обшивать да обстирывать. Зато живыми останетесь и неувечными. Так что поздравляю!» После паузы добавил: «Окромя тех, у кого медицинское образование. Без них пока обойтись не можем. Больно много медицины там выбивает».

Юлия обрадовалась, предъявила старшине свое свидетельство об окончании курсов медсестер. «Он пожал плечами, — вспоминала Юлия Друнина, — и пробормотал: “Жизнь молодая надоела?” Но, видимо, медики и впрямь до зарезу были нужны действующей армии: уже на другой день я получила направление в санупр Второго Белорусского фронта. Я бежала на Белорусский вокзал, а в голове неотступно крутилось: “Нет, это не заслуга, а удача — стать девушке солдатом на войне, нет, это не заслуга, а удача...”»

После войны пройдут многие годы, и она напишет:

Нет, это не заслуга, а удача —
Стать девушке солдатом на войне,
Когда б сложилась жизнь моя иначе,
Как в День Победы стыдно было б мне!..

4

Женщине на войне стократ тяжелее. Война — дело мужское. Бомбежки, затяжные марши, грязь, кровь, холод, простуды, чирьи, нечистоты, негде обогреться, помыться... «И сколько раз случалось, — вспоминала она, — нужно вынести тяжело раненного из-под огня, а силенок не хватает. Хочу разжать пальцы бойца, чтобы высвободить винтовку — все-таки тащить его будет легче. Но боец вцепился в свою трехлинейку образца 1891 года мертвой хваткой. Почти без сознания, а руки помнят первую солдатскую заповедь — никогда, ни при каких обстоятельствах не бросать оружия! Девчонки могли бы рассказать еще и о своих дополнительных трудностях. О том, например, как, раненные в грудь или в живот, стеснялись мужчин и порой пытались скрыть свои раны... Или о том, как боялись попасть в санбат в грязном бельешке. И смех и грех!..»

Она тоже попала в госпиталь. Осколок мины на излете застрял в шее в нескольких миллиметрах от сонной артерии. Попыталась вытащить его сама, ничего не вышло. Тогда перебинтовала рану и в горячке боя, местами переходящего в рукопашные схватки, продолжила вытаскивать раненых. Но вскоре потеряла сознание...

Это было в 43-м. Наши войска наступали. В госпитале, еще не сняв бинты, и, наверное, чтобы освободиться от видений, преследующих ее даже во сне, написала короткое стихотворение, ставшее шедевром фронтовой поэзии:

Я только раз видала рукопашный,
Раз наяву. И тысячу — во сне.
Кто говорит, что на войне не страшно,
Тот ничего не знает о войне.



Юлия Друнина

Из госпиталю Юлию было коммисована подчистую. Инвалид...

Вернулась в Москву. Пошла в собес, чтобы получить продовольственные карточки и пенсионные. Получила. И на все деньги накупила мороженого. Хватило на три порции — по тридцать рублей каждая. Не удержалась и купила красивое платье и кое-что из белья. Не все же в солдатском ходить...

Насладившись мороженым, пошла в Литинститут. Показала свои стихи. Но их признали слабыми, так что творческий конкурс она не прошла. В поступлении в Литинститут вчерашней фронтовичке было отказано. Так или иначе, дверь в литературу для нее оказалась наглухо запертой.

Рана на шее уже не беспокоила. Гораздо больше оказалась другая, свежая. Решила: если не Литинститут, то в Москве ей делать нечего. И снова пошла в военкомат. Санинструкторов на фронте по-прежнему не хватало. Военкоматских уговорить и убедить в своей нужности оказалось легче, чем литинститутских. Военные — родной народ. Она уже знала, как и чем их взять.

Прибалтика. Сорок четвертый год. Наши войска наступали по эстонской земле. «Полковая разведка, — вспоминала она, — притащила “языка”. Перед тем, как передать его в штаб, ребята попросили меня “чуток отремонтировать фрица”. “Фриц” — молодой обер-лейтенант — лежал на спине с закрученными назад руками. Светловолосый, с правильными резкими чертами мужественного лица, он был красив той плакатной “арийской” красотой, которой, между прочим, так не хватало самому фюреру. Пленного даже не слишком портили здоровенная ссадина на скуле и медленная змейка крови, выходящая из уголка рта. На секунду его голубые глаза встретились с моими, потом немец отвел их и продолжал спокойно смотреть в осеннее небо с белыми облачками разрывов — били русские зенитки... <...> Что-то вроде сочувствия шевельнулось во мне. Я смочила перекистью ватный тампон и наклонилась над раненым. И тут же у меня помутилось в глазах от боли. Рассвирепевшие ребята подняли меня с земли. Я не сразу поняла, что случилось. Фашист, которому я хотела помочь, изо всей силы ударил меня подкованным сапогом в живот...»

Осенью 1944 года во время боя попала под огневой налет немецкой артиллерии. Контужена. Контузия, как известно, куда хуже и коварней ранения. Снова госпиталь. Медицинская комиссия. Из истории болезни: частые обмороки, частое кровотечение из полости носа, сильные головные боли, кашель с кровавой мокротой... «Не годен к несению военной службы с переосвидетельствованием через шесть месяцев».

5

В Москву приехала в декабре. После госпиталя, когда уже очевидным стало, что — домой, — постоянно думала о том, как придет в Литинститут, сочиняла, что сказать. Хотелось учиться, но только в Литинституте и больше нигде.

Пришла в гимнастерке, в сапогах. Тщательно, до блеска, их начистила. На груди сияли фронтовые награды — орден Красной Звезды и медаль «За отвагу». Была середина учебного года. Заглянула в аудиторию: там сидели первокурсники, слушали лекцию, что-то записывали в тетради. Вошла и села среди них. Просто вошла и села на свободное место. «Мое неожиданное появление вызвало смятение в учебной части, но не выгонять же инвалида войны!»

Из грязного окопа она попала в свою мечту.

Сессию сдала успешно. Получила стипендию — сорок рублей. Правда, это было ничто, ведь килограмм картошки на рынке стоил — сто! Но на картошку хватало военной пенсии и выплат за боевые награды. Одежда... В тот год почти весь Литинститут ходил в гимнастерках, шинелях и сапогах. У нее же, для особых дней,

де гимнастерочных, было черное платье, которое она купила в день первого приезда с фронта, вместе с мороженым, несколько пар чулок, кофточка...

В аудиториях было холодно, замерзали чернила. Вспоминала: «Несмотря на невыносимо тяжелый быт, время это осталось в памяти ярким и прекрасным. Хорошо быть ветераном в двадцать лет! Мы ловили друг друга в коридорах, заталкивали в угол и зачитывались переполнявшими нас стихами. И никогда не обижались на критику, которая была прямой и резкой. Мы еще и понятия не имели о дипломатии».

Первая публикация появилась в журнале «Знамя». Не одно стихотворение, а целая подборка. С этого времени она стала Юлией Друниной.

В личной жизни тоже произошли перемены. Она вышла замуж за однокурсника и тоже поэта Николая Старшинова. У них много было общего. Фронтовики. Инвалиды. Общей была и бедность.

Николай Старшинов: «Она была измучена войной — полуголодным существованием, была бледна, худа и очень красива. Я тоже был достаточно заморенным. Но настроение у нас было высоким — предпобедным...»

В 1946 году у поэтов родилась дочь Лена.

В 1947 году состоялось Первое Всесоюзное совещание молодых писателей.

В 1948 году вышла первая книга стихов в «Солдатской шинели». И сразу — успех. Публикации. Немного поправилось материальное положение.

В последующие годы сборники выходили регулярно.

Тема войны — солдатская, мужская тема. Юлия Друнина привнесла в эту суровую тему женское, трепетное, но не беззащитное.

Шли годы, а военная тема не уходила. Вернувшимся с войны только казалось, что они вернулись...

Николай Старшинов: «Юля была очень красивой и очень обаятельной. В чертах ее лица было что-то общее с очень популярной тогда актрисой Любовью Орловой. Привлекательная внешность нередко помогала молодым поэтессам “пробиться”, попасть на страницы журналов и газет, обратить особое внимание на их творчество, доброжелательнее отнестись к их поэтической судьбе. Друниной она — напротив — часто мешала в силу ее неуступчивого характера, ее бескомпромиссности...»

Случился скандал. Семинар в Литинституте в ее группе вел известный поэт Павел Григорьевич Антокольский. Мэтр вначале хвалил свою ученицу, «а потом вдруг объявил бездарной и предложил исключить из института как творчески несамостоятельную».

Друнина, хорошо понимая подоплеку внезапной холодности профессора, перевелась в другую группу. Но несправедливый приговор, замешанный на злобе отвергнутого мужчины, запомнила. И на писательском собрании, когда по всей стране громили «безродных космополитов», она «очень резко выступила против Антокольского».

Так что же все-таки стало причиной такой взаимной неприязни Друниной и Антокольского?

Павел Григорьевич, как это частенько случается с преклонных лет наставниками, воспылал к юной студентке. Та не отвечала. Как пишет биограф Юлии Друниной, «в конце 1945 года в издательстве “Молодая гвардия” под редакцией Антокольского вышла первая книга стихов Вероники Тушновой, с которой Друнина и Старшинов дружили. На ужин в честь выхода книги она пригласила и Антокольского — само собой! — и многих своих друзей, в том числе и еще не женатых, но уже влюбленных друг в друга Друнину и Старшинова».

Николай Старшинов: «Где-то между гостями Юля вышла в коридор. Вышел и Антокольский. Вскоре я услышал шум и возню в коридоре и, когда вышел туда,

увидел, как Павел Григорьевич тащит упирающуюся Юлю в ванную. Я попытался помешать ему. Он рассвирепел — какой-то мальчишка смеет ему перечить! — обматюгал меня. Впрочем, я ему ответил тем же, но настоял на своем».

Друнина-то перевелась в другую группу, а Старшинов остался. Теперь ему доставалось от Антокольского за двоих.

Вот на писательском собрании и прилетела старому фавну ответка от оскорбленной женщины.

Ее не печатали в журналах «Красноармеец» и «Октябрь», где членом редколлегии заместителем главного редактора был поэт Степан Щипачев. Какой-то разлад произошел и с Константином Симоновым. Константин Михайлович препятствовал ее вступлению в Союз писателей. Но на собрании вмешался Александр Твардовский, и из кандидатов Юлию Друнину перевели в члены Союза писателей СССР.

Постепенно, как это часто случалось и случается с поэтами, семейная жизнь зашла в тупик и стала разваливаться. Дочь выросла, поступила в Московскую ветеринарную академию.

Вторым браком Юлия Друнина вышла за известного сценариста Алексея Каплера. Каплер был старше ее на двадцать лет. Этот брак был счастливым.

Что любят единожды — бредни,
Внимательней в судьбы всмотрись.
От первой любви до последней
У каждого целая жизнь.

И появились стихи о любви. Среди московской литературной богемы поселилось устойчивое мнение, что Каплер «снял с Юли сапоги и обул в хрустальные туфельки». Было именно так. И в прямом, и в переносном смысле.

Каплер был преуспевающим сценаристом. Фильмы «Ленин в Октябре», «Ленин в 1918 году», «Человек-амфибия», «Полосатый рейс». Кроме того, на телевидении вел «Кинопанораму». Как многие киношники, умеющие вести свои дела, он был богат.

Николай Старшинов: «Я знаю, что Алексей Яковлевич Каплер относился к Юле очень трогательно — заменял ей и мамку, и няньку, и отца. Все заботы по быту брал на себя. Он уладил ее отношения с П. Антокольским и К. Симоновым. Он помогал ей выйти к широкому читателю. При выходе ее книг он даже объезжал книжные магазины, договаривался о том, чтобы они делали побольше заказы на них, обязуясь, в случае, если они будут залеживаться, немедленно выкупить. Так, во всяком случае, мне сказали в магазине “Поэзия”...¹ Она стала много и упорно работать все время. Расширялся круг ее жанров: она обратилась к публицистике и прозе. А если посмотреть ее двухтомник, вышедший в издательстве “Художественная литература” в 1989 году, то окажется, что с 1943 по 1969 год, то есть за семнадцать лет, она написала вдвое меньше стихов, чем за такой же следующий отрезок времени. А если к этому прибавить написанную в эти же годы прозу, то получится, что ее “производительность” возросла вчетверо, а то и впятеро».

С Алексеем Каплером Юлия Друнина прожила девятнадцать лет. Каплер ее боготворил. Она отвечала ему взаимностью. Говорят, когда она уезжала в командировку за рубеж, он ехал в Брест, на пограничный пост — ее встречать.

Каплер умер в 1979 году. Похоронили его Старом Крыму. Так он завещал. Друнина сразу осиротела.

Дочь вышла замуж и жила своими заботами, своей семьей.

Николай Старшинов: «После смерти Каплера, лишившись его опеки, она, по моему, оказалась в растерянности. У нее было немалое хозяйство: большая квартира, дача, машина, гараж — за всем этим надо было следить, поддерживать по-

¹ Сейчас невозможно представить такой книжный магазин в Москве...

рядок. А этого делать она не умела, не привыкла. Ну и переломить себя в таком возрасте было уже очень трудно, вернее — невозможно. Вообще она не вписывалась в наступившее прагматическое время, она стала старомодной со своим романтическим характером».

Друнина в последние года почти ни с кем не общалась. Лишь Виолетта, вдова поэта Сергея Орлова, скрашивала ее одинокое существование. Последняя подруга.

Наступила перестройка. Безумный энтузиазм словоохотливого и косноязычного Горбачева без конца транслировали по радио и телевидению. Власть разрушала то, за что Друнина воевала на фронте, за что умирали ее братья. Она уже завидовала Каплеру: муж вовремя умер...

Как я завидую тому,
Кто сгинул на войне!
Кто верил, верил до конца
В «любимого отца»!
Был счастлив тот солдат...
Живых разбитые сердца
Недолго простучат...

В 1990 году она была избрана в Верховный Совет страны. Но вскоре добровольно сложила депутатские полномочия. Почему? «Мне нечего там делать, там одна говорильня. Я была наивна и думала, что смогу как-то помочь нашей армии, которая сейчас в таком тяжелом положении... Пробовала и поняла: все напрасно! Стена. Не прошибешь!»

Стала чаще бывать на даче. С тоской вспоминала, как весело было жить здесь с Каплером. Как вольно писалось. Теперь от той легкости не осталось и следа. Сидела у окна, закутавшись в теплый платок, и смотрела на осенний сад, где тоже все умирало. Должно быть, в один из таких приездов в одиночестве написалось, из самой глубины, уже из сумерек: «Тяжко! Порой мне даже приходят в голову строки Бориса Слуцкого: “А если кто больше терпеть не в силах, партком разрешает самоубийство слабым...”» В газете «Правда», уже утратившей большую часть своего тиража и влияния, 15 сентября 1991 года она опубликовала статью, где было и это.

Живых в душе не осталось
Мест —
Была, как и все, слепа я.
А все-таки надо на прошлом —
Крест,
Иначе мы все пропали.
Иначе всех изведет тоска,
Как дуло черное у виска...

Прежде чем поставить на прошлом крест, она привела в порядок все свои дела: закончила работу над поэтическим сборником «Судный час», посвященном Алексею Каплеру, на даче села за стол и написала письма — зятю Андрею, дочери, внучке, подруге Виолетте, редактору, в Союз писателей, в милицию. Входной дверью придавила записку зятю, потому что знала: первым ее найдет он: «Андрюша, не пугайся. Вызови милицию и вскройте гараж».

Из предсмертного письма: «Почему ухожу? По-моему, оставаться в этом ужасном, передравшемся, созданном для дельцов с железными локтями мире такому несовершенному существу, как я, можно, только имея крепкий личный тыл... А я к тому же потеряла два своих главных посоха — ненормальную любовь к Старокрымским лесам² и потребность творить... Оно лучше — уйти физически нераз-

² Там лежал Алексей Каплер.

рушенной, душевно несостарившейся, по своей воле. Правда, мучает мысль о грехе самоубийства, хотя я, увы, неверующая. Но если Бог есть, он поймет меня...»

Ее похоронили в Старом Крыму рядом с Алексеем Каплером. Так она просила.

Астрономы назвали одну из вновь открытых планет нашей галактики именем Юлии Друниной. Но и не будь планеты, она все равно будет светить всегда своим романтическим, немного грустным и суровым и одновременно нежным светом.

ЗИНКА

1

Мы легли у разбитой ели.
Ждем, когда же начнет светлеть.
Под шинелью вдвоем теплее
На продрогшей, гнилой земле.

— Знаешь, Юлька, я — против грусти,
Но сегодня она не в счет.
Дома, в яблочном захолустье,
Мама, мамка моя живет.
У тебя есть друзья, любимый,
У меня — лишь она одна.
Пахнет в хате квашней и дымом,
За порогом бурлит весна.

Старой кажется: каждый кустик
Беспокойную девочку ждет...
Знаешь, Юлька, я — против грусти,
Но сегодня она не в счет.

Отогрелись мы еле-еле.
Вдруг приказ: «Выступать вперед!»
Снова рядом, в сырой шинели
Светлокосый солдат идет.

2

С каждым днем становилось горше.
Шли без митингов и знамен.
В окруженье попал под Оршей
Наш потрепанный батальон.

Зинка нас повела в атаку.
Мы пробились по черной ржи,
По воронкам и буеракам
Через смертные рубежи.

Мы не ждали посмертной славы.
Мы хотели со славой жить.
...Почему же в бинтах кровавых
Светлокосый солдат лежит?

Ее тело своей шинелью
Укрывала я, зубы сжав...
Белорусские ветры пели
О рязанских глухих садах.

3

— Знаешь, Зинка, я против грусти,
Но сегодня она не в счет.
Где-то, в яблочном захолустье,
Мама, мамка твоя живет.

У меня есть друзья, любимый,
У нее ты была одна.
Пахнет в хате квашней и дымом,
За порогом стоит весна.

И старушка в цветастом платье
У иконы свечу зажгла.
...Я не знаю, как написать ей,
Чтоб тебя она не ждала?!

1944 г.

«НА НОСИЛКАХ, ОКОЛО САРАЯ...»

На носилках, около сарая,
На краю отбитого села,
Санитарка шепчет, умирая:
— Я еще, ребята, не жила...

И бойцы вокруг нее толпятся
И не могут ей в глаза смотреть:
Восемнадцать — это восемнадцать,
Но ко всем неумолима смерть...

Через много лет в глазах любимой,
Что в его глаза устремлены,
Отблеск зарев, колыханье дыма
Вдруг увидит ветеран войны.

Вздрогнет он и отойдет к окошку,
Закурить пытаюсь на ходу.
Подожди его, жена, немножко —
В сорок первом он сейчас году.

Там, где возле черного сарая,
На краю разбитого села,
Девочка лепечет, умирая:
— Я еще, ребята, не жила...

1974 г.

БИБЛИОГРАФИЯ

- В солдатской шинели. — М.: Советский писатель, 1948.
Мой друг. — М.: Московский рабочий, 1965.
Избранная лирика. — М.: Молодая гвардия, 1968.
Алиска. — М.: Советская Россия, 1973.
Я родом не из детства... — М.: Современник, 1973.
Избранное. — М.: Художественная литература, 1977.
Избранное. В 2 томах. — М.: Художественная литература, 1981.
Это имя... — М.: Современник, 1984.
Метель. — М.: Советский писатель, 1988.
Избранное. В 2 томах. — М.: Художественная литература, 1989.
Польнь. — М.: Современник, 1989.
Мир до невозможности запутан... — М.: Русская книга, 1997.
Стихотворения. — М.: Эксмо-Пресс, 2002.
Есть время любить. — М.: Эксмо, 2004.
Не бывает любви несчастливой... — М.: Эксмо, 2005
Стихи о любви. — М.: Эксмо, 2009.
За минуту до боя... — М.: АСТ, Астрель, 2010.
Стихи о войне. — М.: Эксмо, 2010.
Ты — рядом, и все прекрасно... — М.: Эксмо, 2014.
Лучшие стихи о войне. Зинка. — М.: Клевер-Медиа-Групп, 2015.

НАГРАДЫ И ПРЕМИИ

Трудовые

- Государственная премия РСФСР им. М. Горького (1975) — за книгу стихов «Не бывает любви несчастливой» (1973).
Орден трудового Красного Знамени.
Орден «Знак Почета».
Серебряная медаль им. А.А. Фадеева.

Боевые

- Орден Отечественной войны 1-й степени.
Орден Красной Звезды.
Медаль «За отвагу».
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»

Глава вторая

БОРИС СЛУЦКИЙ

«РЫЖИЙ ВЕТХОЗАВЕТНЫЙ ПРОРОК В РОЛИ ПОЛИТРУКА»

Всех, о ком я здесь пишу — всех! — писателями, поэтами, драматургами сделала война.

Поэта Бориса Слуцкого — тоже.

Родился Слуцкий 7 мая 1919 года в Славянске Изюмского уезда Харьковской губернии. Потом родители переехали в Харьков. В семье был первенцем. Потом появился брат Ефим и сестра Мура.

Отец, Абрам Наумович, был мелким торговцем. Имел лавку на городском рынке. Мать, Александра Абрамовна, называла сына — Боб.

В три года Александра Абрамовна научила его читать, и к шести годам Борис прочитал все книги Харьковской детской библиотеки.

Восьми лет пошел в школу. Учился легко. Из первого класса его перевели сразу в третий. В пятнадцать начал посещать литературный кружок при Доме пионеров. Приблизительно в эти же годы началась дружба с Михаилом Кульчицким, тоже начинающим поэтом. Биограф Слуцкого Илья Фаликов пишет: «Юный Слуцкий — кровное дитя Интернационала. Коммунистического. Нацвопрос как бы отменялся, но оставался в подкорке. Лучший друг в Харькове — Миша Кульчицкий, сын царского офицера, дворянин. Слуцкий ставил его выше себя как поэта, и это походило на то, как в будущем впереди себя он будет видеть Леонида Мартынова. <...> ... отношения с Мишей — “постоянное соревнование”».

Племянница поэта Ольга Слуцкая рассказывала: «...родители говорили на идише, отмечали еврейские праздники и тайно обучали своих мальчиков ивриту — видимо, собирались уехать в Палестину. Братья деда перебрались туда еще в 1919-м или в 1920 году. Шла переписка, и бабушка поинтересовалась, смогут ли ее дети получить там хорошее образование. Ответ, видимо, не был конкретным, что ее не устроило, и в Палестину не поехали».

Кульчицкого он действительно ставил высоко. Когда появлялось новое стихотворение, показывал вначале Михаилу, а потом, в зависимости от его реакции, читал другим. Кульчицкий же ставил стихи Бориса выше своих.

Летом 1937 года Борис уехал в Москву и поступил в Московский юридический институт (МЮИ). Жил в общежитии. Посещал литературный кружок Осипа Брика при МЮИ.

Однажды студента Слуцкого как будущего юриста привлекли к в общем-то обычному практикуму: помогать судебному исполнителю «описывать имущество жулика». Впоследствии бывший студент-юрист описал эту незабываемую историю: «В 1938 году, осенью, я описывал имущество у писателя Бабеля Исаака Эммануиловича.

Это звучит ужасно. Тридцать без малого лет спустя я рассказал эту историю старшей дочери Бабеля, и она слушала меня, выкатив глаза от ужаса, а не от чего-нибудь иного.

На самом же деле все происходило весело и безобидно.

Осенью 1938 года я был студентом второго курса Московского юридического института. На втором курсе у юристов первая практика, ознакомительная. Нас рассовали по районным прокуратурам. На протяжении месяца пришлось присутствовать и в суде, и на следствии, и в нотариальной конторе, и у адвоката — все это в первый раз в жизни. В самом конце месяца мы — трое или четверо студентов — достались судебному исполнителю, старичку лет пятидесяти. Утром он сказал:

— Сегодня иду описывать имущество жулика. Выдает себя за писателя. Заклучил договоры со всеми киностудиями, а сценариев не пишет. Кто хочет пойти со мной?

— Как фамилия жулика? — спросил я.

Исполнитель полез в портфель, покопался в бумажках и сказал:

— Бабель, Исаак Эммануилович.

Мы вдвоем пошли описывать жулика.

К сентябрю 1938 года я перечел нетолстый томик Бабеля уже десятый или четырнадцатый раз. К тому времени я уже второй год жил в Москве и ни разу не был ни в единой московской квартире. 23 трамвайные остановки отделяли Алексеевский студенческий городок от улицы Герцена и Московского юридического инсти-



Борис Слуцкий

туда. Кроме общежитий, аудиторий, бани раз в неделю и театра раз в месяц, я не бывал ни в каких московских помещениях.

Бабель жил недалеко от прокуратуры и недалеко от Яузы, в захолустном переулке. По дороге старик объяснил мне, что можно и что нельзя описывать у писателя.

— Средства производства запрещено. У певца, скажем, рояль нельзя описывать, даже самый дорогой. А письменный стол и машинку — можно. Он и без них поет.

У писателя нельзя было описывать как раз именно письменный стол и машинку, а также, кажется, книги. Нельзя было описывать кровать, стол обеденный, стулья: это полагалось писателю не как писателю, а как человеку.

В квартире не было ни Бабеля, ни его жены. Дверь открыла домработница. Она же показывала нам имущество.

Много лет спустя я снова побывал в этой квар-

тире и запомнил ее — длинную, узкую, сумрачную.

В сентябре 1938 года в квартире Бабеля стояли: письменный стол, пишущая машинка, кровать, стол обеденный, стулья и, кажется, книги. Жулик знал действующее законодательство. Примерно в этих словах сформулировал положение судебный исполнитель».

Через год Бабеля арестовали, а в 1940-м расстреляли.

Одновременно с юридическим Слуцкий учился в Литературном институте, поступив туда в 1939 году, сразу на третий курс. Семинар Ильи Сельвинского. Сельвинский мгновенно почувствовал в юном Слуцком силу большого поэта, всячески поддерживал его, толкал вперед. Именно с подачи Сельвинского Слуцкого приняли сразу на третий курс. Редкий случай. В Литинституте он сблизился с поэтами Павлом Коганом, Сергеем Наровчатовым, Давидом Самойловым, Михаилом Лукониным. Все — будущие солдаты.

Первые стихи появились в печати в самый канун Великой Отечественной войны — в марте 1941 года.

2

В автобиографии, хранящейся в архиве Союза писателей, Слуцкий писал: «Когда началась война, поспешно сдал множество экзаменов, получил диплом и 13 июля уехал на фронт. 30 июля был ранен (на Смоленщине). Два месяца пролежал в госпиталях. 4 декабря нашу 60 стрелковую бригаду выгрузили в Подмоскowie и бросили в бой. С тех пор и до конца войны я на фронте...»

60-я стрелковая бригада была сформирована в Саратове в октябре-ноябре 1941 года. Тогда, осенью, после тяжелого лета, а затем гибели Западного и Резервного фронтов в районе Вязьмы и Рославля, Ставка Верховного Главнокомандования начала спешно формировать стрелковые бригады, потому что дивизии формировать было уже некогда. В ноябре 60-я сбр прибыла на железнодорожную станцию Кубинка в Подмоскowie и введена в состав 5-й общевойсковой армии Западного фронта. Шли тяжелейшие бои. До декабрьского контрнаступления, как известно, был еще ноябрьский, последний удар немцев на Москву.

Как пишет биограф Слуцкого Илья Фаликов, после госпиталя Слуцкий как человек, имевший юридическое образование, «по решению военкомата <...> был определен следователем военной прокуратуры, где служил полгода».

Кто они, мои четыре пуда
Мяса, чтобы судить чужое мясо?
Больше никого судить не буду.
Хорошо быть не вождем, а массой.

Давид Самойлов вспоминал их встречу, которая произошла в Москве, по всей вероятности, когда Слуцкий после ранения получил в военкомате направление в 60-ю стрелковую бригаду и по пути заехал в Москву: «Мы встретились в октябре 41-го, Слуцкий — лихой уже вояка, прошедший трудные бои и госпиталя, снисходительный к моей штатской растерянности.

— Таким, как ты, на войне делать нечего, — решительно заявил он. Он, как и другие мои друзья, соглашались воевать за меня. Мне как бы предназначалась роль историографа.

Слуцкий побыл у меня недолго. Эти дни перед 16 октября³ он был деятелем, увлечен, полон какого-то азарта. Тут была его стихия. На улицах растерявшейся Москвы энергичные люди спасали архивы, организовывали эвакуацию.⁴ Слуцкий потом рассказывал, как участвовал в спасении архива журнала “Иностранная литература”. Пришел проститься.

— Ну, прощай, брат, — сказал он, похлопав меня по плечу. — Уезжай из Москвы поскорей.

Я малодушно всхлипнул. Слуцкий, слегка отворотясь лицом, вновь похлопал меня, быстро вышел в переднюю и побежал вниз по лестнице».

В феврале 1943 года на базе 3-й танковой армии была сформирована 57-я общевойсковая армия (2-е формирование). Армия заняла оборону на рубеже реки Северский Донец. Впоследствии вошла в состав 3-го Украинского фронта. В штате полевого управления 57-й армии и служил Слуцкий.

Из пехоты еще под Москвой Слуцкого перевели в дивизионную прокуратуру. Какие рычаги здесь сработали, неизвестно. Служил вначале секретарем, потом следователем. Следователь дивизионной прокуратуры — должность сложная. Пришлось молодому поэту разбирать не рифмы, а судьбы.

Осенью 1942 года переведен в политотдел 57-й армии. Весной 1943 года он уже старший инструктор политотдела армии. «Несмотря на то, что был политработником, — читаем в официальной биографии поэта, — постоянно лично ходил в разведпоиски».

Я говорил от имени России,
Ее уполномочен правотой,
Ее приказов формулы простые
Я разъяснял с достойной прямою.
Я был политработником. Три года:
Сорок второй и два еще потом,
Политработа — трудная работа.
Работали ее таким путем:
Стою перед шеренгами неплотными,
Рассеянными час назад
В бою,
Перед голодными,
Перед холодными.

³ 16 октября 1941 года — день паники в Москве.

⁴ Многие из «энергичных людей» попросту бежали из Москвы, прихватывая с собой самое ценное, в том числе продукты длительного хранения.

Голодный и холодный.
Так!
Стою.
Им хлеб не выдан,
Им патрон недодано,
Который день поспать им не дают.
Но я напоминаю им про Родину.
Молчат. Поют. И в новый бой идут.
Все то, что в письмах им писали из дому,
Все то, что в песнях с их душой слилось,
Все это снова, заново и сызнова
Высоким словом — Родина — звалось.
Я этот день,
Вспоминаю это,
Как справку
Собираюсь предъявить
Затем,
Чтоб в новой должности — поэта —
От имени России
Говорить.

На фронте Слуцкий вступил в ВКП(б). Должно быть, поэтому и сделал довольно стремительную карьеру: из рядового пехотного до гвардии майора, начальника 7-го отделения политотдела армии. 7-й отдел — подразделение, занимавшееся разложением войск противника агитацией через листовки, через радиотрансляции и т.д. Слуцкий со своими подчиненными занимался также изучением политической обстановки в стане противника, держал, насколько это было возможно, связь с политическими партиями, общественными и религиозными организациями стран, в пределы которых Красная Армия вошла, грома фашистские режимы. На основании этих данных отдел готовил рекомендации для командования. Поэт для такой работы был существом, прямо скажем, неподходящим, но Слуцкий справлялся. Может быть, потому, что во время войны стихов почти не писал.

После войны стихи буквально хлынули.

Написалась и книга прозы. Нечто промежуточное между мемуарами и философским трактатом на тему войны. Так появились «Записки о войне». Как вспоминал Константин Ваншенкин, «когда-то он сказал мне, что сразу после Победы заперся на две недели и записал свою войну в прозе: “Пусть будет...”»

Поэт, вернувшись с войны, начинал с прозы.

Проза начиналась так: «То было время, когда тысячи и тысячи людей, волею случая приставленные к сложным и отдаленным от врага формам борьбы, испытывали внезапное желание: лечь с пулеметом за кустом, какой поплоче и помокрее, дожидаться, пока станет видно в прорезь прицела — простым глазом и близоруким глазом. И бить, бить, бить в морось, придвигающуюся топоча».

«Тогда еще никто не знал, что слово “славяне”, казавшееся хитрой выдумкой партработников и профессоров, уже собрало в Белграде студентов и работников под знамена КПЮ.⁵

6 ноября 1941 г. Я проезжал через Саратов. Была метель — первая в этом году. Ночью на станции, ярко освещенной радужными фонарями, продавалось мороженое пятьдесят копеек порция — сахарин, крашеный снег, подслащенный и расцвеченный электричеством. Оно таяло задолго до губ, в руках, и невидимыми ручейками скапывало на землю. Россия казалась эфемерной и несуществующей, и Саратов — последним углом, закутком ее.

На следующее утро эшелон остановился на степной станции. Здесь выдавали

⁵ Коммунистическая Партия Югославии.

хлеб трембачущим, свежесывоченный, ржаной. Его отпущали проезжающим, пробегающим, эвакуированным, спешащим на формировку. Однако хлебная гора чудесно не убывала. Теплый запах, окутывавший ее в ноябрьской неморозной измороси, напоминал об уюте и основательности. За две тысячи километров от фронта, за полторы тысячи километров от Москвы Россия вновь представилась мне необъятной и неисчерпаемой.

На войне пели: “Когда я почти служил ямщиком...”, “Вот мчится тройка удалая...”, “Как во той степи замерзал ямщик...” Важно, что это неразбойничьи, небурлацкие и несолдатские песни, а именно *ямщицкие*. Преобладало всеобщее ощущение дороги — дальней, зимней, метельной дороги. Кто из нас забудет ощущение военной неизвестности ночью, в теплушке, затерянной среди снежной степи?»

«Идеология война, фронтовика составляется из нескольких сегментов, четко отграниченных друг от друга. Подобно нецементированным кирпичам они держатся вместе только силой своей тяжести, невозможностью для человека отказаться хотя бы от одного из них. Жизнь утрясает эту кладку, обламывает одни кирпичи об другие. Так, наш древний интернационализм был обломан свежей ненавистью к немцам. Так, самосохранение жестоко “состукивалось” с долгом. Страх перед смертью — со страхом перед дисциплиной. Честолюбие — с партийным презрением к побрякушкам всякого рода.

Один из самых тяжелых и остроугольных кирпичей положил Илья Эренбург, газетчик. Его труд может быть сравнен только с трудом коллектива “Правды” или “Красной Звезды”. Он намного выше труда всех остальных писателей наших. Для многих этот кирпич заменил все остальные, всем — мировоззрение, и сколько молодых офицеров назвало бы себя эренбургианцами, знай они закон словообразования. Все знают, что имя вклада Эренбурга — ненависть. Иногда она была естественным выражением официальной линии. Иногда шла параллельно ей. Иногда, как это было после вступления на немецкую территорию, — почти противоречила официальной линии. Как Адам и как Колумб, Эренбург первым вступил в страну ненависти и дал имена ее жителям — фрицы, ее глаголам — выстоять... Не один из моих знакомых задумчиво отвечал на мои аргументы: “Знаете ли, я все-таки согласен с Эренбургом”, — и это всегда относилось к листовкам, к агитации, к пропаганде среди войск противника. Когда министры иностранных дел проводят свою линию с такой неслыханной последовательностью, они должны стреляться при перемене линии.

Эренбург не ушел, он отступил, оставшись “моральной левой оппозицией” к спокойной политике наших оккупационных властей.

Вред его и польза не измеряются большими мерами. Так или иначе петье им песни еще гудят в ушах наших, еще ничто не заглушило их грозной мелодии. Мы не посмели поставить силе ненависти силу любви, а у хладнокровного реализма не бывает силы».

Комментировать философию войны Слуцкого трудно. Во-первых, наверняка многое было написано во время боев и маршей, на фронте. А это для нас, нынешних, не нюхавших запаха *того* пороха, заведомо бесспорно. Во-вторых, это все же изъятия из общего текста. Но что касается Эренбурга и его «Убей немца!», то здесь можно и поспорить. Причем здесь спорно все. Даже в не столь уж пространной цитате явно чувствуется, что Слуцкий пытается оправдать Эренбурга. Перед читателем? Перед совестью? Вряд ли Эренбург не понимал, когда писал свои исполненные ненависти к врагу газетные заметки для политруков, а значит, и для солдат, что во враге, каким бы чудовищем он ни был, есть и человеческие черты. И эти черты, по мере продвижения Красной Армии в глубину Европы, проявлялись все более отчетливо. Солдату-освободителю, видевшему до перехода через

рубеж границы только «фрицев» и «гансов», теперь пришлось увидеть семьи, жен, матерей, детей и сестер этих чудовищ, терзавших на советской земле их жен, матерей и сестер. Эренбург прекрасно понимал, что с его «Убей!» в солдатском вещмешке освободительный поход Красной Армии может превратиться в повальную и неуправляемую средневековую резню, в тотальную Хатынь от Одера до Рейна и Альп. Как гуманист он не мог не видеть конечность, а значит, и тупик своей философии ненависти.

Так что здесь, в размышлениях Слуцкого об Эренбурге, многое спорно. Будь он хоть трижды автору «Убей!» друг и брат. Более «хладнокровного реализма», чем газетный Эренбург, который на агитационном поприще действительно был стоكرат мощнее целой редакции «Правды» и «Красной Звезды», не существовало. И сила этого «хладнокровного реализма», вопреки утверждению Слуцкого, была огромна. Эту силу в 44-м и 45-м командование гасило грозными приказами и расстрелами насильников и мародеров. А ведь у насильников и мародеров была своя жизненная философия, своя, пусть извращенная, но все же правда, и частью ее было как раз это «Убей!» И Эренбург ее разогрел до состояния катастрофического. Тогда мало кого заботило то, как будем жить после войны, главное — победить.

«Запрещение сдаваться в плен, немыслимое в любой другой армии, привело к тому, что окружение было не только катастрофой, но и толчком к образованию мощных лесных соединений. Приказ выполнило меньшинство, но меньшинство, достаточное для моральной победы. В штурмовых батальонах⁶ еще долго встречалось обиженное начальство. Они сдались в плен, порвали партбилеты, чтобы сохранить себя для коммунизма и даже для борьбы в эту войну “в более благоприятных условиях”. Их ведь не предупреждали о том, что нормы героизма будут настолько повышены».

«Без отпусков, без солдатских борделей по талончикам, без посылок из дому мы опрокинули армию, которая включила в солдатский паек шоколад, голландский сыр, конфеты».

Зимой 1941–1942 годов под Москвой наша снежная нора, согреваемая собственным дыханием, победила немецкую неприспособленность к снежным нормам. В 1942 году солдатские газеты прокричали об утвержденных Гитлером проектах благоустроенных солдатских блиндажей, без выполнения этого обещания немцы не стали бы воевать еще зиму.

Почти всю войну кормежка была изрядно скудной. Люди с хорошим интеллигентским стажем мечтали о мире, как о ярко освещенном ресторане с пивом, с горячим мясным. Москвичи конкретизировали: “Савой”, “Прага”, “Метрополь”.

Офицерский дополнительный паек вызывал реальную зависть у солдат.⁷

В окопах шла оживленная меновая торговлишка! Табак на сухари, порция водки на две порции сахара. Прокуратура тщетно боролась с меной.

Первой военной весной, когда подвоз стал маловероятен, стали есть конину. Убивали здоровых лошадей (нелегально); до сих пор помню сладкий потный

⁶ Слуцкий имеет в виду штрафные батальоны, в которых, как известно, воевали прощтрафившиеся офицеры и политработники. Будучи работником военной прокуратуры, Слуцкий, конечно же, участвовал в судебных процессах, разбиравших преступления и проступки командиров, которые из трибунала направлялись прямым ходом в штрафбат.

⁷ В немецкой армии никакого дополнительного или особого пайка для офицеров, и даже генералов, не существовало. Всё и для всех — из общего котла. Дополнительный командирский паек в Красную Армию переключался из царской армии.

запах супа с кониной». *Офицеры резали конину на тонкие ломти, поджаривали на железных листах до тех пор, пока они не становились твердой, хрусткой, съедобной».*

«В Констанце мы впервые встретились с борделями.

Командир трофейной роты Говоров закупил один из таких домов на сутки. Тогда еще рубль был очень дорог, существовал “стихийно найденный” паритет: “один рубль равняется сто лей” — вполне символизировавший финансовую политику нашего солдата. Характерно, что курс завывался также и в Болгарии, а в Югославии он наоборот был занижен до того, что на один рубль там брали 9,6 недичевских динаров, и солдаты переплачивали “из уважения”.

Закупив бордель, Говоров поставил хозяина на дверях — отгонять посетителей, а сам устроил смотр нагим проституткам. Их было, кажется, двадцать четыре. “За свои деньги” он заставил их маршировать, делать гимнастические упражнения и т.д. Насытившись, Говоров привел в дом свою роту и предоставил женщин сотне пожилых, семейных, измучившихся без бабы солдат.

Первые восторги наших перед фактом существования свободной любви быстро проходят. Сказывается не только страх перед заражением и дороговизна, но и презрение к самой возможности купить человека».

«Осенью 1944 года 75-й стрелковый корпус, покоря Западную Румынию, освободил огромные шеститысячные лагеря наших военнопленных. Этих-то пленных и прочили в партизаны.

Корпус не пополнялся с августовских боев, и новобранцев немедленно распределили по полкам — огромными партиями по шестьсот-семьсот человек. Так и шли они разноцветными ордами, замыкавшими тусклые полковые колонны, — защитники Одессы и Севастополя, кадровые бойцы 1941 года, слишком выносливые, чтобы поддаться режиму румынских лагерей, слишком голодные, чтобы не ненавидеть этот режим всей обидой души.

Шли тельняшки, слинявшие до полного слияния белых и синих полос, шли немецкие шинели, шли румынские мундиры, выменянные у охраны. Шли. И румынские деревни отшатывались перед их потоком, разбегались в стороны от шosse.

Это были отличные солдаты, сберегшие довоенное уважение к сержантам и почтение к офицерам. Большинство из них крепко усвоило военное словечко: “Мы себя оправдаем”, — сопряженное с осознанием своей вины (или согласием. мой поступок можно рассматривать как вину) и неслезливым раскаянием».

«Седьмого сентября две армии приготовились к прыжку через болгарскую границу. 7-му отделению было приказано отпечатать двадцать тысяч листовок. Болгарских шрифтов не было. Печатали по-русски, догадываясь, что болгары поймут. Однако листовки оказались напрасными. Навстречу нашим танкам выходили целые деревни — с хлебом, с солью, виноградом, попами. После румынской латыни танкисты быстро разобрались в малеванных кириллицей дорожных указателях. Перли на Варну, Бургас, на Шумен. Утром 8 сентября шуменский гарнизон арестовал сотню немцев, застрявших в городе. Вечером того же дня шуменский гарнизон был сам арестован подоспевшими танкистами. 9-го, когда я приехал в город, в немецком штабе еще оставались посылки — кексы, сушеная колбаса, мятные лепешки. Ночью мы долго стучались в запертые ворота. Помучившись более часа, я перелез через забор и вскоре пил чай с пирожками в гостеприимной, хотя и осторожной семье. Меня спрашивали: “Как же вы вошли? Ведь ворота остались запертыми!” Я отвечал: “Что такое воро-

та для гвардейского офицера!» Какой-то гимназист с дрожью в голосе говорил мне: «Так нехорошо! Вы — не братушки!»

Братушка — слово, рожденное во времена походов Паскевича или Дибича, рикошетом отскочило от нашего солдата и надолго пристало ко всем “желательным иностранцам”. Братушками называли даже австрийцев и мадьяр».

«В сентябре 1944 года я осматривал в Разграде лагерь пленных немцев — главным образом, дунайских пловцов, бежавших сюда из Румынии. Всего — сто два человека. Партизаны, еще не привыкшие быть субъектами, а не объектами пенитенциарной системы, кормили их четырьмястами граммами хлеба в день, давали еще какую-то горячую баланду. Фрицы роптали, и братушки смущенно консультировались у меня, правильно ли они поступают. В Югославии такие нахалы, как эти фрицы, давно уже лежали бы штабелями. Такова разница национальных темпераментов, а главным образом, двух вариантов накала борьбы».

«После украинского благодушия, после румынского разврата суровая недоступность болгарских женщин поразила наших людей. Почти никто не хвастался победами. Это была единственная страна, где офицеров на гулянье сопровождали очень часто мужчины, почти никогда — женщины. Позже болгары гордились, когда им рассказывали, что русские собираются вернуться в Болгарию за невестами — единственными в мире оставшимися чистыми и нетронутыми.

Случаи насилия вызывали всеобщее возмущение. В Австрии болгарские цифры остались бы незамеченными. В Болгарии австрийские цифры привели бы к всенародному восстанию против нас — несмотря на симпатии и танки.

Мужья оставляли изнасилованных жен, с горечью, скрепя сердце, но все же оставляли».

«Проза войны, — точно заметил Илья Фаликов, — стала прозой поэта — и в стихах, и в не-стихах, то есть в прозе как таковой. Она была готова к осени 1945 года. Десять глав. На одном дыхании. Заведомый самиздат — такого не опубликуешь».

Потом все было опубликовано. И не раз переиздавалось.

«Записки о войне», эти «десять глав», появились, по всей вероятности, потому, что поэт еще не был уверен в том, что сможет все, что пережил и постиг в эти четыре года, выразить в стихах.

Боевой путь Слуцкого лежал от Подмосковья и Смоленщины через Сталинград и Украину, Румынию и Венгрию, на Болгарию и Австрию.

В конце войны и после какое-то время служил в Венгрии, потом в Австрии. Илья Фаликов: «...формировал правительство в южно-австрийской Штирии».

Из южно-австрийской Штирии вернулся Москву. Начали сказываться ранения и серьезная контузия. Таких в кадрах не задерживали. После войны многие офицеры оставались служить. Но не всех желающих оставляли.

Илья Фаликов: «Он привез свою прозу в первое послевоенное посещение Москвы осенью 1945-го. Остановился у Лены Ржевской, только что вернувшейся с войны, видел уцелевших друзей, задумывался об уходе из армии, откуда его пока что не отпускали. Уехав из Москвы в Грац (Австрия), где стояла его часть, сообщил другу Исааку Крамову: “...написал три больших стиха, которые я могу читать тебе или Сергею <Наровчатову>...”

Затем, в ближайшие месяцы, происходили всяческие хлопоты по разным гадательным направлениям: либо аспирантура одного из исторических институтов Академии наук, либо адъюнктура Высших военно-партийных курсов. Сорвалось там и там».

Дальше был госпиталь, потом военно-врачебная комиссия. По результатам комиссии — инвалидность. «Мне дали инвалидность второй группы. Я потрясен. Ты знаешь, кому дают вторую группу? Обрубкам без ног и рук, а я? Я-то ведь с руками и ногами».

Обострился пансинусит. Последствие простуды на фронте. Простуда была осложнена сильнейшей контузией. Постоянные головные боли, бессонница, депрессии. Надо было лечиться в госпиталь. Перенес две тяжелейшие операции. Трепанация черепа. Остался шрам над бровью. Но головные боли не ушли. Не спал ночами.

Один фронтовик, бывший командир стрелковой роты, рассказал мне однажды: войну он начал лейтенантом, в 43-м году, после окончания Ташкентского пехотного училища. Во время первых же боев, ночью, немецкая разведка дважды утаскивала из роты бойцов, командир батальона вызвал его, сказал, что, если это произойдет и в третий раз, он, командир роты, загремит прямым ходом в штрафбат. После этого, когда наступала ночь, ротный не спал, ходил по траншее, заглядывал в землянки, пересчитывал своих бойцов, прислушивался к нейтральной полосе и на каждый шорох и подозрительный звук бросал за бруствер гранату «Ф-1». Войну так же, как и майор Слуцкий, мой ротный закончил в Австрии. До середины 60-х продолжал служить. Спать по ночам научился только спустя пять лет после последних боев в Австрии.

У Слуцкого, возможно, было нечто подобное, но вдобавок ко всему это *нечто* было осложнено еще и контузией. А последствия контузии, как известно, не всегда лечатся.

Татьяна Кузовлева: «Война оставила Слуцкому не только шрамы на теле, но и в результате сильной контузии — стойкую, изнурительную бессонницу.

И — то ли война разбудила в нем одно удивительное свойство, то ли оно было врожденным, но он мог обходиться без часов. Они словно жили у него внутри — он в любой момент с точностью до минуты определял время».

3

Послевоенная жизнь поэта, была скудной. А какой тогда могла быть жизнь поэта?

«Когда я впервые после войны приехал (в ноябре 1945) <в Москву>, я позвонил по телефону Сельвинскому, его жена спросила меня:

— Это студент Слуцкий?

— Нет, это майор Слуцкий, — ответил я надменно».

Таким, майором, и даже гвардии майором, он и останется в русской поэзии XX-го века. Но жить на первых порах было не на что. Поэтому время от времени уезжал в Харьков. «Как инвалид Отечественной войны второй группы я получал 810 рублей в месяц и две карточки. В Харькове можно было бы прожить, в Москве — нет... В Харькове можно было почти не думать о хлебе насущном». Какое-то время приплачивали еще за ордена, потом отменили. Для фронтовиков эта государственная мера, пусть даже вынужденная — каждую копейку пускали на создание ядерной бомбы, — была сильнейшим моральным ударом.

После прозы густой волной пошли стихи.

Дружил с Давидом Самойловым и Сергеем Наровчатовым. У фронтовиков было много общего и кроме поэзии и литературных новостей.

Когда появлялись свободные деньги, покупал книги. Любил букинистические магазины, завел знакомства с известными букинистами. Покупал книги, которые давно искал, и тогда, когда денег не хватало даже на еду.

Или:

Я — ухо мира! Я — его рука!

Мерой времени все еще оставалась война. Боевые товарищи. Всю меру определяли *они*. Особенно погибшие. Они стояли над поэтом, как иконы. Достаточно поднял глаза — вот они. Ни солгать, ни увильнуть — ни-ни, как под дулом автомата...

Илья Фаликов: «Странное было время. Стихи били фонтаном. Густо и регулярно проходили вечера поэзии — и в Политехническом, и в Литературном институте, и в Комаудитории МГУ, и во второй аудитории филологического факультета, и в университетском общежитии на Стромынке, и на многих других площадках».

Начались публикации в журналах «Новый мир», «Октябрь», «Знамя».

Его опекал Эренбург, отмечал в своих публикациях. Ему, покровителю и учителю, Слуцкий посвятил одно из лучших своих стихотворений «Лошади в океане».

В 1956 году вышел первый выпуск альманаха «День поэзии». Альманах станет ежегодником и своего рода поэтическим эталоном. В нем были и стихи Слуцкого.

Боготворил Николая Заболоцкого. Когда Заболоцкий скорострительно умер от инфаркта, Слуцкий был потрясен. С Заболоцким он ездил в Италию в составе писательской делегации, бывал у него в Тарусе, откуда Николай Алексеевич привез цикл своих последних стихов, своих поздних шедевров. На похоронах Заболоцкого Слуцкий сказал: «Наша многострадальная литература понесла тяжелейшую утрату...» Присутствовавшие вжали головы в плечи: *многострадальная...* Тогда это было не просто смело, но и опасно. Хотя Сталина уже не было, был Хрущев.

Слуцкий вспоминал: «Несколько раз я приносил Заболоцкому книги — из нововышедших, и почти всегда он с улыбкой отказывался, делая жест в сторону книжных полок:

— Что ж мне, Тютчева и Баратынского выбросить, а это поставить?»

4

Его поэтическую судьбу, его высоту в литературе и его кредо точно определил поэт и литературовед Илья Фаликов: «Случай Слуцкого — случай добровольного и волевым образом вмененного себе в долг идеализма, усиленного генной памятью пророческого библейского прошлого. Рыжий ветхозаветный пророк в роли политрука. Моисей и Аарон в одном лице. Косноязычие первого и красноречие второго. Точнее, их языковая смесь».

А вот определение Станислава Куняева, более конкретное: «Он вообще был в своих пристрастиях полным новатором, как любили говорить тогда, и модернистом. Все, что было связано с традицией, не интересовало его и воспринималось им как искусство второго сорта. Высшим достижением Николая Заболоцкого Борис Абрамович считал его первую книгу “Столбцы” и весьма холодно отзывался о классическом последнем Заболоцком. Судя по всему, ему были чужды и Ахматова, и Твардовский, но зато он ценил лианозовского художника Рабина, певца барачного быта, его кумиром был Леонид Мартынов, который для Слуцкого как бы продолжал футуристическую линию нашей поэзии, а из ровесников он почти молился (чего я никак не могу понять) на Николая Глазкова за то, что последний, по убеждению Слуцкого, был прямым продолжателем Велимира Хлебникова. При упоминании имен Давида Самойлова, Наума Коржавина, Александра Межирова Борис Абрамович скептически шевелил усами: они были для него чересчур тра-

диционный. Но когда он вспоминал Глазкова, в его голосе начинало звучать что-то похожее на нежность».

И еще: «Служкий был демократичен. Он даже не пил коньяк, говоря, что народ пьет водку и поэт не должен отрываться от народа и в этом деле. Привлекала в творчестве Служкого насыщенность его поэзии прозой жизни. Проза жизни — ее картины, ее грубый реализм...»

Он был частью поколения, выкарабкавшегося в поэзию из окопов. Раненый, контуженый. Солдатам и офицерам, вернувшимся на гражданку, очень скоро дали понять, что война окончена и солдат в новой жизни — человек лишний. Обесценились, в прямом и переносном смысле, ордена и звания. Упразднен как государственный праздник День Победы.

Когда мы вернулись с войны,
Я понял, что мы не нужны.
Захлебываясь от ностальгии,
От несовершенной вины.
Я понял: иные, другие,
Совсем не такие нужны.

В 1957 году в издательстве «Советский писатель» вышла его книга стихов, в нем было одноименное стихотворение, начинавшееся так:

Я носил ордена.
После — планки носил.
После — просто следы этих планок носил.
А потом гимнастерку до дыр износил
И надел заурядный пиджак...

Дальше — полупроза о Ковалевой Марии Петровне — солдатской вдове. Но первая строфа — о своей поэзии и той эволюции, которую она невольно, с течением лет и времен претерпела.

На симпозиуме «Литература и война» в 1985 году Иосиф Бродский сказал: «Именно Служкий едва ли не одиночку изменил звучание послевоенной русской поэзии. Его стих был сгустком бюрократизмов, военного жаргона, просторечия и лозунгов, с равной легкостью использовал ассонансные, дактилические и визуальные рифмы, расшатанный ритм и народные каденции. Ощущение трагедии в его стихотворениях часто перемещалось, помимо его воли, с конкретного и исторического на экзистенциальное — конечный источник всех трагедий. Этот поэт действительно говорит языком XX века... Его интонация — жесткая, трагичная и бесстрастная — способ, которым выживший спокойно рассказывает, если захочет, как и в чем он выжил».

В этом признании есть, конечно же, доля преувеличения, но в остальном — правда.

Пристально вглядывался в молодых. Читал их стихи. Внимательно слушал. Отмечал талантливых, перспективных. И помогал. Сразу высоко оценил Станислава Куняева, Анатолия Передерева, Леонида Агеева, Юрия Кузнецова, Николая Рубцова. Хотя категорически не принял стихотворение Рубцова «Журавли», заподозрив в нем, как отмечал Станислав Куняев, архаику, «сплошное эпигонство, подражание братьям Жемчужниковым, известным по песне: “Здесь, под небом чужим, я как гость нежеланный, слышу крик журавлей, улетающих в даль...”» Однако написал положительную рецензию на сборник Рубцова «Звезда полей». Нуждавшимся давал в долг, чаще без отдачи. Молодые поэты из провинции могли просто позвонить ему на домашний телефон, представиться: я — начинающий поэт из провинции такой-то, — и он назначал встречу и часами слушал стихи.

Молодые его любил и между собой уважительно называли: *Абрамыч*.

Конечно, невозможно обойти тему: Слуцкий и власть.

Станислав Куняев в своей мемуарной книге «Поэзия. Судьба. Россия» выдал по этой теме достаточно лаконичную и точную формулу: «Слуцкий был человеком присяги. Партийно-идеологической присяги социализму».

Человек присяги... Снова военная терминология.

Должно быть, как человек присяги он и выступил против Пастернака, осудил автора «Доктора Живаго» за публикацию романа за рубежом. Евтушенко сказал, что Слуцкий совершил в своей жизни «одну-единственную ошибку, постоянно мучившую его». На что Куняев, хорошо знавший Слуцкого, тут же возразил: «Думаю, что Евтушенко здесь недооценивает цельности и твердости натуры Слуцкого. Да никто бы не смог заставить его осудить Пастернака, ежели бы он сам этого не хотел! А осудил он его как идеолог, как комиссар-политрук, как юрист советской школы, потому что эти понятия, всосанные им в тридцатые годы, как говорится, с молоком матери, были для Слуцкого святы и непогрешимы еще в конце пятидесятых годов. С их высоты он мог осудить не только Пастернака, нанесшего, по его мнению, некий моральный вред социалистическому отечеству. С их высоты он, юрист военного времени, вершил суд и справедливость в военных трибуналах, в особых отделах, в военной прокуратуре. О, ирония истории — которая заставила лично добрейшего человека порой надевать на себя чуть ли не мундир смершевца! Но он как поэт был настолько честен, что и не скрывал этого, и в его сталинистском подсознании на иррациональном уровне шла мучительная борьба, обессиливающая поэта.

“Я судил людей и знаю точно, что судить людей совсем не сложно”, “В тылу стучал машинкой трибунал”, “Кто я — дознаватель, офицер? Что дознаю? Как расследую? Допущу его ходить по свету я? Или переправлю под прицел...”, “За три факта, за три анекдота вынут пулеметчика из дота, вытащат, рассудят и осудят...” Глухо, сквозь зубы, но с откровенной мужественной горечью.

Думаю, что воспоминания об этом периоде жизни мучили Слуцкого куда сильнее, нежели пропагандистская история с Пастернаком, в конечном счете, лишь пролившая воду на мельницу мировой славы поэта».

Расстреливали Ваньку-взводного
за то, что рубежа он водного
не удержал, не устерег.

Не выдержал. Не смог. Убег.

Бомбардировщики бомбили
и всех до одного убили.

Убили все до одного,
его не тронув одного.

Он доказать не смог суду,
что взвода общую беду
он избежал совсем случайно.
Унес в могилу эту тайну.

Удар в сосок, удар в висок,
и вот зарыт Иван в песок,
и даже холмик не насыпан
над ямой, где Иван засыпан.

До речки не дойдя Днепра,
он тихо канул в речку Лету.
Все это сделано с утра,
зане жара была в то лето.

Шедевр! Мороз по коже...

А дальше, немного успокоившись, можно размышлять.

Трагедия? Трагедия. И, прежде всего, автора. Уж он-то знал, что одна из пуль, которые зарыли Ивана в песок, — его, дознавателя военной прокуратуры.

За что расстреляли взводного? С позиции нынешнего времени и нынешнего читателя — ни за что. За то, что случайно не убили на том берегу «речки» Днепра. Что в живых из всего взвода один остался. Тоже случайно.

Но поэт есть поэт. Для него человек — это Человек. И потому по сравнению с Иваном даже Днепр всего лишь речка...

Да и Лета — тоже. В этом стихотворении поэт Слуцкий раздвоился на человека Слуцкого и майора Слуцкого. У каждого из них своя правда и свое изначальное поручение, которое надо исполнить. Они, оба, его исполнили.

И сталинистом он был, и демократом (по-некрасовски), и коммунистом. «Себя считал коммунистом и буду считать...» Раздвоенность Слуцкого чувствуется во многих его стихах. Куняев точно заметил: «Сталин не любил таких “сомневающих фанатиков”, как Слуцкий. Но такие, как Слуцкий, любили Сталина».

О Сталине я думал всякое разное,
Еще не скоро подобьют итог.
Но это слово, от страданья красное
За ним, я утаить не мог.

И еще:

Он был мне маяком и пристанью.
И все. И больше ничего.

Тем не менее, подписал «Письмо двадцати пяти» — письмо деятелей науки и культуры Генеральному секретарю ЦК КПСС Л.И. Брежневу против реабилитации Сталина (1966).

Сталина он отделял от сталинизма. Возврата сталинизма не хотел, хорошо понимая, какие люди могут за это взяться и какие силы поднимутся из чудовищной преисподней.

В биографии Слуцкого лежала некая тайна. Вернее, не в его личной биографии, а в истории семьи. И это касается его еврейства, которое он, как утверждают некоторые исследователи, постепенно, начиная с фронта, по крупицам из себя изживал.

Что же это была за тайна?

Двоюродный брат Бориса Слуцкого — Меир Хаймович Слуцкий — Меир Амит — в 1920 году был увезен родителями в Палестину, в землю обетованную. Стал офицером армии Израиля. Во время Суэцкого кризиса 1956 года служил начальником оперативного отдела Генштаба. Потом руководил военной разведкой «АМАН» (1962–1963) и внешней разведкой «Моссад» (1963–1968). Именно Меир Амит создал армейский спецназ Израиля. Слуцкий с братом не общался. Это было невозможно. Хотя о существовании его знал. Как, должно быть, знал и Меир Амит.

Жизнь поэта была озарена любовью к Татьяне Дашковской.

Говорят, со своей будущей женой он познакомился так. На Пушкинской площади встретился со знакомым литератором, поэтом. Разговорились. Тот попросил рекомендацию для вступления в Союз писателей. Поэт писал хорошие стихи и рекомендацию Слуцкий ему бы дал без всяких условий. Но в этот момент мимо проходила красивая женщина, высокая, стройная, ухоженная, с тяжелой косой.

Слуцкий сразу обратил на нее внимание. Она, мельком взглянув на него, тоже. И вдруг она поздоровалась с его приятелем. Тогда Слуцкий сказал ему, что готов дать рекомендацию сразу, как только он познакомит его с этой богиней.

Слуцкому тогда уже было сорок лет.

Они прожили вместе восемнадцать счастливых лет. В 1977 году Татьяна умерла от тяжелой болезни. Последние годы жизни для него были годами *после Нее*. И это стало главной темой последних стихов. И размышлений о смерти.

Но никуда не денешься.
Падаешь, словно денежка,
В кружке церковной звеня.
Боже, помилуй меня.

После ухода жены Слуцкий прожил девять лет. Стихи шли недолго, несколько месяцев, за которые он, казалось, выплеснул всю свою нежность, всю свою явную и затаенную любовь к своей единственной женщине, и умолк. Последний лирический цикл — самое, пожалуй, мощное в его поэзии.

Оставшиеся годы прожил у младшего брата Ефима в Туле. Время от времени лежал в больнице Кащенко. Умер 23 февраля 1986 года. Даже дату смерти гвардии майор, казалось, выбрал себе сам.

Оставил завещание:

Умоляю вас,
Христа ради,
с выбросом просящей руки,
раскопайте мои тетради,
расшифруйте дневники.

В последние годы рядом со Слуцким был его друг, литературный душеприказчик Юрий Болдырев. Он сделал все, о чем просил поэт.

Тело Слуцкого кремировали, пепел захоронили в могилу на Пятницком кладбище в Москве, рядом с Таней. Рядом со своей богиней.

7

Наверное, еще когда, запершись после возвращения из Центральной группы войск из Австрии, упорно, как будто обирал с себя коросту, писал прозу, он надеялся таким образом *отписаться*, освободиться, исторгнуть из себя эту тему раз и навсегда. Не получилось. Как и у других фронтовиков. Даже в «штатских» стихах война вспыхивает в ассоциациях, в точных, как выстрел снайпера, сравнениях. Война для Слуцкого так и осталась главным событием жизни, главной темой его стихов:

А в общем, ничего, кроме войны!
Ну хоть бы хны. Нет, ничего.
Нисколько. Она скрипит,
как инвалиду — койка.
скрипит всю ночь
вдоль всей ее длины.
.....
И в памяти, и в сердце не осталось,
кроме войны, ни звука, ни строки...

И проговорил это прозой: «В моем стихе, как на больничной койке, к примеру, долго корчилась война».

«Дар — это поручение», — сказал однажды и поэт Слуцкий, и майор Слуцкий.

КЕЛЬНСКАЯ ЯМА

Нас было семьдесят тысяч пленных
В большом овраге с крутыми краями.
Лежим
 безмолвно и дерзновенно,
Мрем с голодухи
 в Кельнской яме.

Над краем оврага утоптана площадь —
До самого края спускается криво.
Раз в день
 на площадь
 выводят лошадь,
Живую
 сталкивают с обрыва.

Пока она свергается в яму,
Пока ее делим на доли
 неравно,
Пока по конине молотим зубами, —
О бюргеры Кельна,
 да будет вам срамно!
О граждане Кельна, как же так?
Вы, трезвые, честные, где же вы были,
Когда, зеленее, чем медный пятак,
Мы в Кельнской яме
 с голоду выли?
Собрав свои последние силы,
Мы выскребали надпись на стенке отвесной,
Короткую надпись над нашей могилой —
Письмо
 солдату Страны Советской.

«Товарищ боец, остановись над нами,
Над нами, над нами, над белыми костями.
Нас было семьдесят тысяч пленных,
Мы пали за родину в Кельнской яме!»

Когда в подлецы вербовать нас хотели,
Когда нам о хлебе кричали с оврага,
Когда патефоны о женщинах пели,
Партийцы шептали: «Ни шагу, ни шагу...»

Читайте надпись над нашей могилой!
Да будем достойны посмертной славы!
А если кто больше терпеть не в силах,
Партком разрешает самоубийство слабым.

О вы, кто наши души живые
Хотели купить за похлебку с кашей,
Смотрите, как, мясо с ладони выев,
Кончают жизнь товарищи наши!

Землю роем,
скребем ногтями,
Стоном стонем
в Кельнской яме,
Но все остается — как было, как было! —
Каша с вами, а души с нами.

БАНЯ

Вы не были в районной бане
В периферийной городке?
Там шайки с профилем кабаньим
И плеск, как летом на реке.

Там ордена сдают вахтерам,
Зато приносят в мыльный зал
Рубцы и шрамы — те, которым
Я лично больше б доверял.

Там двое одноруких спины
Один другому бодро трут.
Там тело всякого мужчины
Исчеркали война и труд.

Там по рисунку каждой травмы
Читаю каждый вторник я
Без лести и обмана драмы
Или романы без вранья.

Там на груди своей широкой
Из дальних плаваний матрос
Лиловые татуировки
В наш сухопутный край занес.

Там я, волнуясь и ликуя,
Читал, забыв о кипятке:
«Мы не оставим мать родную!» —
У партизана на руке.

Там слышен визг и хохот женский
За деревянную стеной.
Там чувство острого блаженства
Переживается в парной.

Там рассуждают о футболе.
Там с поднятою головой
Несет портной свои мозоли,
Свои ожоги — горновой.

Но бедствий и сражений годы
Согнуть и сгорбить не смогли
Ширококостную породу
Сынов моей большой земли.

Вы не были в раю районном,
Что меж кино и стадионом?
В той бане парились иль нет?
Там два рубля любой билет.

* * *

Последнею усталостью устав,
Предсмертным умиранием охвачен,
Большие руки вяло распластав,
Лежит солдат.
Он мог лежать иначе,
Он мог лежать с женой в своей постели,
Он мог не рвать намокший кровью мох,
Он мог...
Да мог ли? Будто? Неужели?
Нет, он не мог.
Ему военкомат повестки слал.
С ним рядом офицеры шли, шагали.
В тылу стучал машинкой трибунал.
А если б не стучал, он мог?
Едва ли.
Он без повесток, он бы сам пошел.
И не за страх — за совесть и за почесть.
Лежит солдат — в крови лежит, в большой.
А жаловаться ни на что не хочет.

БИБЛИОГРАФИЯ

Память. — М.: Советский писатель, 1957.

Время. — М.: Молодая гвардия, 1959.

Годовая стрелка. — М.: Советский писатель, 1971.

Время моих ровесников. (С предисловием В. Огнева). — М.: Детская литература, 1977.

Стихи разных лет. Из неизданного. — М.: Советский писатель, 1988.

Стихотворения. (Вступительная статья Евгения Евтушенко). — М.: Художественная литература, 1989.

Я историю знаю... — М.: Правда, 1990.

Собрание сочинений. В 3-х томах. — М.: Художественная литература, 1991.

Странная свобода. (Предисловие Олега Хлебникова). — М.: Русская книга, 2001.

Записки о войне. — СПб.: Логос, 2000.

Странная свобода. — М.: Русская книга, 2001.

О других и о себе. — М.: Вагриус, 2005.

Без поправок... — М.: Время, 2006.

Лошади в океане. — М.: ЭКСМО, 2011.

Покуда над стихами плачут. — М.: Текст, 2013.

Стихи. — СПб.: Пушкинский фонд, 2017.

Снова нас читает Россия... — М.: ЭКСМО, 2019.

Два ордена Отечественной войны 1-й степени.
Орден Отечественной войны 2-й степени.
Орден Красной Звезды.
Орден «Знак Почета».
Орден «За храбрость» 2-й степени. (Болгария).
Орден «Крест Грюнвальда». (Польша).
Медали.

Глава третья

ВИКТОР КУРОЧКИН

«В НЕМ ТЕКЛА МУЖИЦКАЯ КРОВЬ...»

При жизни читателей у него было немного. Его любила небольшая прослойка почитателей военной темы. Правда, и в ряду творцов «лейтенантской прозы» его имя тоже называли в конце, если вообще вспоминали. Прошли годы, и его книги переместились в первый ряд...

1

Виктор Курочкин родился в деревне Кушниково Старицкого района Тверской области 23 ноября 1923 года. Отец Александр Тимофеевич и мать Татьяна Алексеевна (родом из ржевской деревни Аполево) были потомственными крестьянами. Как отмечал литературовед и биограф писателя С.М. Панферов, Курочкин был «крестьянин по корням и мировоззрению». Хотя и дед его Тимофей Афанасьевич, и отец Александр Тимофеевич подолгу работали в Питере. Тимофей Афанасьевич работал на судоремонтном заводе «глухарем» — мастером-котельщиком. Зарабатывал хорошо и даже мечтал со временем, накопив достаточно денег, выкупить разоряющееся поместье и усадебный дом в соседних Малинниках. Усадьба некогда принадлежала Анне Петровне Керн (Полторацкой). Отец Александр Тимофеевич тоже пытался оторваться от земли и стать городским обывателем. Он умрет в блокадном Ленинграде.

Вообще предки писателя по отцовской линии имели фамилию — Лобановы. Но Тимофей Афанасьевич получил прозвище — Курочкин. С тех пор и пошло — Курочкины.

Детство Виктора Курочкина, школьная пора и отрочество прошли в родной деревне. Впоследствии, став уже известным писателем и сценаристом, он будет приезжать на родину, жить здесь и работать над очередной рукописью.

С.М. Панферов: «В нем текла мужицкая кровь, и воздух родины он считал самым здоровым воздухом на свете».

В 30-е годы, по всей вероятности, убегая от коллективизации, семья Курочкиных уехала из Кушникова в город Павловск, что под Ленинградом. Летом 1941 года Виктор окончил девятый класс. 22-го июня. Выпускной. Война.

Семья Курочкиных разделилась. Мать Татьяна Алексеевна с дочерью Юлей уехали из Ленинграда на восток, в Ярославль, подальше от войны. Отец Александр Тимофеевич и Виктор остались — работали на одном из оборонных заводов. Виктор первое время копал окопы в окрестностях Павловска, но потом, когда немцы подошли вплотную, пришлось перебраться в Ленинград и пойти на завод. На заводе его поставили на несложную операцию — шлифовал зенитные снаряды.

Мемцы и финны быстро продвигались к городу и вскоре охватили его железным кольцом.

Первая же зима унесла Александра Тимофеевича. Виктор еще кое-как держался. В апреле 1942 года, понимая, что до лета он не дотянет, пробрался в один из грузовиков колонны, которая двигалась через Ладогу. Щуплого дистрофика, к счастью, обнаружили только на другом берегу.

Летом Виктор уже учился в Ульяновском танковом училище. Вскоре его перевели в группу самоходчиков. Но прежде чем стать курсантом, прошел курс лечения от дистрофии.

Весной 1943 года решением Ставки начали формировать части самоходной артиллерии, и это были полки. Их, как правило, включали в танковые и механизированные корпуса во время проведения крупных наступательных операций.

В бой Курочкин пошел лейтенантом, командиром СУ-76.

Самоходная артиллерийская установка, оснащенная 76,2-мм пушкой, была создана на базе легких танков Т-60 и Т-70. Самоходка этого типа предназначалась для непосредственного сопровождения пехоты на поле боя. Имела противопульное покрытие. Пушка позволяла уничтожать легкие и средние танки противника, а также могла разрушать ДОТы и другие укрепления и сооружения оборонительного типа. Это был самый легкий и самый массовый тип самоходной артиллерии в годы войны. С ее появлением пехоте и в обороне, и особенно в наступлении стало полегче выполнять поставленные задачи. Раньше в наступлении, если шли вперед без поддержки танков, нужно было на руках перекачивать легкие — 37-мм и 45-мм — орудия, при необходимости разворачивать их, устанавливать и только после этого вести прицельный огонь. А теперь самоходки, и гораздо большего калибра, двигались непосредственно в рядах атакующей пехоты, мгновенно обнаруживали неподавленные во время артподготовки ожившие огневые точки, а также отражали контратаки бронетехники противника.

Первый бой лейтенант Курочкин провел летом 1943 года на Курской дуге. Вначале командовал экипажем СУ-76. Потом 6-й гвардейский танковый корпус 3-й гвардейской танковой армии генерала П.С. Рыбалко получил новую технику, и лейтенант Курочкин пересел на более мощную СУ-85.

СУ-85 относилась к классу истребителей танков. Наши экипажи дрались на ней с сентября 1943 года и до конца войны. Средние немецкие танки Т-IV и прочие самоходка из своей длинной, как у зенитки, 85-мм пушки уверенно валила на дистанции более 1000 метров. Тяжелые Т-V («пантеры») и Т-VI («тигры») оставливали на более короткой дистанции — до 1000 метров. Лейтенант Саня Малешкин со своим экипажем механиком-водителем Гришкой Щербаком, наводчиком сержантом Домешеком и заряжающим ефрейтором Бянкиным свои два «тигра» ломанули и вовсе почти в упор. (Повесть «На войне как на войне»).

Танковая армия генерала П.С. Рыбалко была одним из лучших бронетанковых соединений в Красной армии. Мощная, маневренная. В составе Воронежского фронта она участвовала в Киевской наступательной операции, затем уже в составе 1-го Украинского — в Житомирско-Бердичевской, Просукрово-Черновицкой, Львовско-Сандомирской, Сандомирско-Силезской, Нижнесилезской, Берлинской и Пражской наступательных операциях. Лейтенант Курочкин дошел в ее составе до Сандомирско-Силезской операции (12 января — 3 февраля 1945 года). Во время этой наступательной операции войска 1-го Украинского фронта маршала И.С. Конева разгромили Кельце-Радомскую группировку противника, освободили Южную Польшу, вышли к Одеру и с ходу захватили плацдармы на его левом берегу. Были созданы условия для успеха в предстоящем наступлении на берлинском и дрезденском направлениях.

Во всех этих операциях храбро дрался 1893-й гвардейский самоходно-артил-



Виктор Курочкин

лерийский Фастовский Краснознаменный орден Суворова и Красной Звезды полк, в котором воевал экипаж лейтенанта Курочкина.

В январе 1944 года по время форсирования Одера и захвата плацдарма Курочкин получил тяжелое осколочное ранение и будет отправлен в армейский тыловой госпиталь. На этом его фронтовые дороги на некоторое время прервутся. Осенью того же 45-го, после лечения, лейтенант Курочкин окончит военное училище, а потом уволится из армии. Но и на фронт, и в армию он еще вернется — в своей прозе, в повестях «Железный дождь» и «На войне как на войне».

А пока приехал в Павловск, поступил в вечернюю школу, в 10 класс. Хвала и слава советским вечерним школам! Многим, волею различных обстоятельств не успевшим ухватиться за жизнь, она дала возможность получить аттестаты о среднем образовании, которые открывали путь к дальнейшему образованию и карьере.

После получения аттестата поступил в Ленинградскую юридическую школу. По окончании несколько лет работал судьей в одном из районов Новгородской области. Для таких людей, каким был Курочкин, конфликт с системой — закономерный итог. Там же, в райцентре Уторгош, сердце обожгла неразделенная любовь. Там же всерьез занялся литературой, на первых порах вроде бы находя в ней не более чем утешение, тайную свободу.

По возвращении в Павловск некоторое время работал корреспондентом местной газеты, потом перешел в «Ленинградскую правду». Писатели, которых судьба протаскивает через газетную поденщину, неблагодарную и изнурительную, журнализм в себе, как правило, преодолевают достаточно быстро и безболезненно, либо не преодолевают его никогда. Курочкин принадлежал к первым. Даже в ранних рассказах и повестях бывшего газетчика совершенно не видно.

В 1959 году он окончил Литературный институт им. А.М. Горького. Учился на заочном отделении.

В Союз писателей СССР его приняли в 1965 году. С большой задержкой. Рекомендации дали Федор Абрамов и Виктор Конецкий.

Федор Абрамов: «Первые рассказы и повести Курочкина были о деревне, о повседневных радостях и горестях рядовых людей. Они некрикливы, неброски, эти его первые вещи не отличаются пышностью своего оперения и новомодными придумками. Но всякий непредвзятый читатель, прочитав уже его первую книгу “Заколоченный дом”, скажет: да, в литературу нашу пришел новый талантливый писатель, писатель со свежим и точным словом, с крепким знанием народной жизни и настоящей, неподдельной совестью».

Виктор Конецкий: «Я считаю В.А. Курочкина одним из самых “густых”, “точных” по языку ленинградских писателей. Он принадлежит к тем в русской литературе писателям, которые всеми своими корнями связаны с деревней, землей. Именно оттуда приходит такое языковое богатство и такая чистота душевных помыслов, такое непрерывное стремление к правде, которая одна только и может помочь людям жить в наш сложный век. Я считаю большим упущением всех членов ленинградской писательской организации то, что В.А. Курочкин до сих пор не находится официально в наших рядах. Уже сложившимся, прошедшим войну человеком, уже отработав на разных участках современной жизни в самых разных должностях и

профессиях, Виктор Александрович нашел в себе силы и настойчивость окончить Литературный институт, получить высшее литературное образование. Одновременно с прозой он начал работу в театральной драматургии, создав пьесу «Сердце девичье затуманилось», а затем киносценарий «Ссора в Лукашах»».

С.М. Панферов: «Как человек поколения, основательно выкошенного кривой историей, он имел право на выбор. На фотографиях ушедших лет они, люди его поколения, не выглядят гулливерами, на лицах нет самодовольства победителей, нет безнадежной тоски, есть одно, что скрыть было невозможно — на нас смотрят оставшиеся в живых. Курочкин не столько понимал, сколько чувствовал. Думается, это и определило его выбор. <...>

Собственно в литературном смысле Курочкин ближе всего к Пушкину там, где ближе к его прозе: «Повести Белкина», но и в «Пора, мой друг...» Начав с прозы, причем «натуральной», Курочкин постоянно создавал «второе небо в пространствах собственной души» (по словам Г. Горбовского) и, по его же словам, он был «не ценитель, а целитель прекрасного...»»

2

Свое место и в жизни, и в литературе он определил сам. В повести «На войне как на войне» есть такое место: «Начало смеркаться, когда полк оставил позади расстрелянный лес. Неподалеку от него рос молодой дубок. Он так крепко держался за землю и так был жаден до жизни, что не уронил ни одного листика. Тонконогий, стройный, он стоял посреди дороги, вызывающе вскинув листоватую рыжую голову. Земля вокруг дубка была изъезжена, испахана, искромсана. Его пощадил и снаряды, и бомбы, и танки, и колеса машин, и солдатские сапоги. Последняя Санина самоходка прогромыхла мимо деревца, и дубок тоже остался позади и его поглотила серая мгла вечера».

Не оказалось места автору повести «На войне как на войне» в плотной обойме «лейтенантской прозы». О Курочкине молчала критика. А если не молчала, то, по большей части, снисходительно бранила, хотя и признавалось, что в литературу вошел «своеобразный, одаренный» писатель.

Одновременно с прозой Курочкин работал над киносценариями. В 1959 году на «Ленфильме» вышел художественный фильм «Ссора в Лукашах». Сценарий Курочкин «собрал» из нескольких своих рассказов и повестей.

В «деревенских» повестях и рассказах Курочкина проглядывает что-то платоновское — трагическое, некий надлом, как у зрелого хлебного колоса, который уже упал на землю и вот-вот будет затоптан, потому что никому не нужен, ни самому крестьянину, ни первому секретарю райкома партии. Потомственный крестьянин, наблюдавший на родной земле несколько поколений, их труд, их отношение к своей и окружающей природе, Курочкин хорошо понимал, что ждет деревню в недалеком будущем. По стилю и художественной изобразительности критики ронили его с Юрием Казаковым, с которыми, кстати, Курочкин дружил и прозу которого ценил очень высоко.

Не все, написанное Курочкиным, шло в печать. Редакторы, отмечая высоких художественный уровень повестей «Записки народного судьи Семена Бузыкина» и «Урод», отказывались их печатать в той редакции, в которой они были представлены, предлагали автору изменить те или иные сюжетные линии, смягчить конфликты, характеры. Долгое время не шли пьесы «Пень» и «За все надо платить». Повесть «Записки народного судьи Семена Бузыкина» будет напечатана спустя двенадцать лет после смерти автора — в журнале «Нева» (1988 год) с предисловием вдовы писателя Галины Ефимовны Нестеровой-Курочкиной.

Из очередной депрессии писателя вырвала работа над новой повестью о войне, а потом ее публикация в столичном «толстом» журнале и громкий успех.

В 60-е годы фронтовики словно встрепенулись. Особенно те из них, кто на фронт ушел со школьной скамьи. Они оглянулись на прожитое и вдруг обнаружили, как мало их, рождения 1922–1925 годов, уцелело.

Повесть «На войне как на войне» Курочкин закончил в 1965 году. Рукопись размножил и веером разослал в журналы и издательства. Спустя какое-то время начал получать свои пакеты назад. Никто не брал. И вдруг из редакции журнала «Молодая гвардия» пришло письмо: повесть понравилась, отдаем в набор...

Вскоре «На войне как на войне» вышла в журнале. Потом — отдельной книжкой. О новой повести Курочкина заговорили. Первая рецензия вышла в ленинградской газете «Смена». Отзыв был положительным. Эта публикация словно задала тон всему последующему разговору и о повести, и вообще о прозе Виктора Курочкина.

В те дни Курочкин получил много восторженных писем от друзей, от писателей и читателей. Особенно дорого было признание своих. «С моей точки зрения, — писал ему в октябре 1965 года Александр Яшин, — Ваша книга станет в ряд лучших художественных произведений мировой литературы о войне, о человеке на войне. К тому же это очень русская книга. Я думаю, что не ошибаюсь... Читал я Вашу книгу, и ликовал, и смеялся, и вытирал слезы. Все удивительно тонко, достоверно, изящно, умно, и все — свое, Ваше, я не почувствовал никаких влияний. А это очень дорого... Ваша книга бьет по всем неумеющим писать, бесталанным, но поставленным у «руководства литературой», как же им не сопротивляться. А ведь многие из них тоже о войне пишут. К тому же и совести у этих людей нет. Смотрите на эти статьи как на рекламу... Если бы не они, я бы, наверно, долго еще не имел счастья прочитать Вашу повесть... Это выше Барбюса и Ремарка. Саня Малешкин имеет лишь одного предшественника — Петю Ростова (больше пока не вспомнил)».

После выхода «На войне как на войне» в журнале «Молодая гвардия» в прессе, в те годы чуткой к новым именам и новым публикациям, посыпались рецензии, статьи и отзывы. Среди восторженных, положительно-доброжелательных были и, мягко говоря, критические. Некоторых буквально сочли ядом. С резкой критикой повести Виктора Курочкина вышли «Литературная газета» и «Известия». Установочные, так сказать, издания. Но кто их теперь помнит, эти торопливые и согласованные рецензии? Поздно было останавливать Виктора Курочкина лукавым чиновникам от литературы и прикормленным критикам-рецензентам. В русскую литературу он ворвался, как самоходка младшего лейтенанта Малешкина в село Антополь-Боярка, чтобы решительно очистить его и прилегающие окрестности от противника, засевавшего во дворах, в проулках и на выгодных высотах и холмах...

«Саня Малешкин, — писал Федор Абрамов, — символ самого юного поколения, призванного на войну. Почти дети. С детским, игривым взглядом на жизнь, с чужинкой, со способностью к удивлению, к проказам. И хоть война — совершенно противоположная стихия. Но может быть, на войне-то отчетливо и бросались в глаза эта инфантильность, наивность, простодушие, непосредственность, что вызывает улыбку, граничит с нелепостью...

А Курочкин — и насколько это сильнее — явил себя, свое поколение без прикрас.

Мальчиком ушел. Да он и на войне мальчик — портрет в лейтенантских погонах.

Портрет Сани Малешкина. Открытое лицо. Улыбка. Детское. Не верится, что он командовал. А командовал».

«К сожалению, — продолжает тему С.М. Панферов, — эти слова звучали в частных разговорах, а на страницах газет, издававшимся миллионными тиражами, шла вульгаризация повести. Например, тональность повести “плохо выверена”, перебор “шуточных зарисовок”, нарочитое “комикование” автора, которого прямо обвиняют в “щукарстве”. Они относились к автору, по меткому замечанию литературоведа Валерия Дементьева, как в повести относился к Сане Малешкину капитан Сергачев. Им срочно был необходим пафос и героизм, скроенные по их собственным меркам.

Книга-открытие и откровение одновременно не могла не вызвать разноречивых откликов. Показательно стремление задвинуть на периферию литературы произведение, которое убедительно отвечало на вопрос: почему мы победили? Победили люди, которые не были созданы для войны, потому и воевали “не по правилам”. К достоинствам повести Вадим Кожин отнес отрицание Курочкиным как художником “хемингуэевско-ремаркистского стиля”, который, приводя с собой на войну “сто процентных мужчин”, создавал в литературе “своего рода военно-спортивную атмосферу”, которая этой войне была совершенно чужда».

Повесть «На войне как на войне» поддержали писатели-фронтовики Федор Абрамов, Виктор Астафьев, Виктор Конецкий, Александр Яшин, Сергей Орлов. Но самую главную поддержку Виктору Курочкину оказал Лев Николаевич Толстой, завершая вторую часть «Севастопольских рассказов» и как будто имея в виду всех, равных себе, кто еще будет писать о войне, и не только о ней, он написал: «Герой моей повести, которого я люблю всеми силами моей души, которого старался воспроизвести во всей красоте его и который всегда был, есть и будет прекрасен, — правда».

По самому большому счету, по счету, определенному Толстым, правда была и в «Записках народного судьи Семена Бузыкина», и в «Заколоченном доме», и в других повестях и рассказах Виктора Курочкина.

Исследователи Андрей Уланов и Александр Томзов наложили сюжет истории экипажа младшего лейтенанта Малешкина на реальную историю танкового боя в селе Антополь-Боярке, когда подразделения 6-го гвардейского танкового корпуса при поддержке СУ-85 1893-го самоходно-артиллерийского полка атаковали оборону группы танков и мотопехоты дивизии СС «Лейбштандарт «Адольф Гитлер». И судя по документам совпадение получилось полное. Похоже, писателю Виктору Курочкину ничего, кроме диалогов, не надо было придумывать.

Более того!

«В художественной литературе, — размышляют авторы исследования, — подвиги героев, как правило, преувеличены. Курочкин сделал ровно наоборот: его повесть менее героичная, чем реальный боевой путь писателя. На самом деле 1893-й самоходно-артиллерийский полк не стоял в резерве, а уже 25 декабря 1943 года вместе с 53-й гвардейской танковой бригадой вел бой за деревню Озерны.

Эту деревню и находящуюся за ней Приворотье взяли в тот же день. Немцы откатывались назад — на следующий день 3-я батарея, приданная 53-й танковой бригаде, уже штурмовала хутор Выдумку в двух десятках километров западнее.

27 декабря самоходчики вместе с танкистами 53-й бригады подошли к деревне Харитоновке. Немцы пытались превратить ее в мощный опорный пункт, но советский обходной маневр заставил их покинуть деревню. 53-я танковая бригада доложила об уничтожении трех вражеских танках и двух самоходок при собственных потерях в две машины.

Однако бой за следующий рубеж обещал быть значительно сложнее...»

А вот архивные документы — боевое донесение штаба 53-й танковой бригады в штаб 6-го гвардейского танкового корпуса 3-й гвардейской танковой армии:

«22.12.43 г. в 23.00 бригада согласно боевому приказу 6 ГККТК изменила район боевых действий и к 7.00 ч. 29.12.43 г. сосредоточилась в районе юго-вост. окр. Стар. Курильни, имея задачу быть готовой к наступлению в направлении: Антополь-Боярка, Раскопана Могила, захватить Старый Соловтин и прочно его удерживать.

29.12.43 г. бригада выступила на Антополь-Боярка, где встретили сильное огневое сопротивление противника, завязался сильный бой, в результате которого бригада к 19.00 овладела Антополь-Боярка.

Продолжая выполнять поставленную задачу, бригада выступила на Лиховцы и в течение дня вела сильный бой по овладению С.Соловтин, но успеха не имела.

После боя бригада отошла в лес, имея в своем составе 4 исправных танка.

<...>

Ущерб, нанесенный противнику:

- сожжено 2 танка типа "тигр";
- 2 самоходных орудия;
- 5 автомашин;
- до 85 солдат и офицеров противника.

Потери:

- сгорело 7 танков "Т-34";
- подбито 4 танка "Т-34";
- убито 18 человек;
- ранено 63 человека».

Из наградного листа командира СУ-85 1893-го самоходно-артиллерийского полка лейтенанта В.А. Курочкина: «Т. Курочкин умело и бесстрашно руководит своим экипажем. В бою с немецкими захватчиками за освобождение нас. пункта Антополь-Боярка принял бой с двумя немецкими "тиграми". Умелым маневром, зайдя с фланга, уничтожил один немецкий танк "тигр" с его расчетом и до взвода живой силы противника. Своим умением руководить экипажем в бою удержал достигнутый рубеж и сохранил свою машину несмотря на сильный огонь противника. За все время боев в проводимой операции машина лейтенанта Курочкина не имела вынужденных остановок и поломок.

Достоин правительственной награды орден "Красное Знамя".

Командир 1893-го Фастовского самоходного арт. полка

Подполковник Басов

8 января 1944 г.»

Согласно немецким штабным документам, 29 декабря 1943 года 13-я рота тяжелых танков дивизии СС «Лейбштандарт» списала как не подлежащие восстановлению два тяжелых танка Т-VI унтершарфюрера Г. Кунце (тяжело ранен) и Г. Стаака (ранен).

Второй «тигр» лейтенант Курочкин поделил с гвардейцами 53-й танковой бригады.

По всей вероятности, сразу после боя, в горячке командир действительно объявили лейтенанту Курочкину, что будут представлять его на Героя. Но потом решили: Героя за полтора «тигра» могут завернуть наверху, а вот «Красное Знамя» пройдет наверняка. Но не прошло. Орден Красного Знамени герою заменили на орден Отечественной войны II-й степени.

Никогда и никому, даже самым близким людям Виктор Курочкин и словом не обмолвился о том, какой он со своим верным экипажем 29 декабря 1943 года в селе Антополь-Боярка совершил подвиг и как его обошли, обнесли Звездой.

Звезда с годами превратится в крест. Крестом его не обойдут. Он будет нести

его в литературе. Даже когда напишет и опубликует блистательную повесть, литературные труженики либерального направления постараются из всех калибров принизить ее достоинство, а автора вытолкнуть на периферию литпроцесса как недостойного столичных лавр.

Но время все расставит на свои места.

Повесть «На войне как на войне» вскоре будет экранизирована. Фильм получится достойный. Роль младшего лейтенанта Малешкина сыграет Михаил Кононов, внешне удивительно похожий на лейтенанта Курочкина образца 1943–1945 годов.

4

В жизни Виктор Александрович Курочкин был человеком своеобразным и даже в общем понимании странным. Близко принимал к сердцу то, на что можно было и наплевать. К примеру, всегда величал себя тверичем, и это был его протест «против укорога истории древнего края». Выпивал. Загулять мог в любой, самой бесшабашной компании. Не терпел лжи и насилия над здравым смыслом. По этой причине порой попадал в милицию. Любил рыбалку. Писатели ведь на рыбалку, да и на охоту тоже, ходят не за рыбой и зверем, а чтобы душу наполнить, избавиться от депрессии, распрямиться. Но и уху умел готовить мастерски, особенно судака по-польски.

Глеб Горышин: «Однажды в зимнюю пору Курочкина забрали в милицию. Он возвращался с подвального лова, в валенках с галошами, в ватных штанах, в шубейке и малахае, с ящичком на особом, собственного изготовления полозе, ящичком он чрезвычайно гордился и хвастался в гораздо большей степени, чем всем своим творчеством. В центре города, может быть, даже на Невском проспекте, он вдруг увидел афишу только что вышедшего на экраны фильма “Ссора в Лукашах”. Курочкин остановился против афиши, внимательно ее прочел. Затем присел на свой ящик, задумался, что-то такое вспомнил и заплакал в три ручья. Понятно, милиция подхватила под руки плачущего в неположенном месте рыбака. Курочкин пытался объяснить, что он, именно он является автором этого фильма. Никто ему на слово не поверил, конечно».

В другой раз он попал в милицию в подпитии. В участке его избili до полусмерти, вследствие чего у него случился инсульт. Отнялась правая сторона. Он не мог говорить. Не мог ни писать, ни даже читать. Начался медленный уход.

Глеб Горышин: «Он приходил в редакцию, садился против меня и смотрел мне в глаза. Губы его шевелились, он силился что-то сказать и не мог. Писать он тоже не мог. Выдерживать взгляд Виктора было невыносимо. Я говорил ему что-то такое бодрое, он слушал меня. Глаза его наполнялись слезами. Он махал рукой, как выпавший из гнезда галчонок машет слишком коротким для полета крылом, и уходил».

Юрий Казаков писал Глебу Горышину: «Как Курочкин? Жалко его. В санаторий его надо. <...> Курочкину при случае поклонись...» Но и сам вскоре уйдет от той же болезни.

Виктор Курочкин умер 10 ноября 1976 года пятидесяти трех лет от роду в самом расцвете творческих сил. Похоронен на Комаровском кладбище.

Над могилой друга Глеб Горбовский прочитал стихи:

Остановился танк на пашне,
Железный гроб, молчит броня,
Открылся люк, с вершины башни
Мальчишка смотрит на меня.

Белоголовый, гимнастерка
Великовата, а глаза
Глядят измученно и зорко
На мир, где кончилась гроза.

Еще гремела в отдаленье,
Лучились молний остря,
Но все же бойню одолели.
Включай, природа, соловья!

Слагайся гимн во имя мертвых.
Эй, лейтенант, домой ступай!
Но пальцы к поручням примерзли,
Не оторвать, хоть отрубай.

Не отпускает сталь солдата.
Броня крепка, прошу учесть.
Он понял, двигаться не надо,
Его удел — остаться здесь!

Он в танк вернулся, люк задраил
И вновь враскачку — вдоль страны.
Мы от инфарктов умираем,
А лейтенанты — от войны.

Еще их носит ветер лютый
По обескровленным полям,
Но приглядишь: они оттуда,
С Войны, их государство там!

Смотри: как жалкие подранки
В священном гневе и огне,
Блуждают призрачные танки
По Курской огненной дуге.

Война взяла их в час великий,
Любовь и разум ослепя,
И до последнего их крика
Не отпустила от себя.

БИБЛИОГРАФИЯ

Заколоченный дом. — Л.: Советский писатель, 1958.

На войне как на войне. — Л.: Советский писатель, 1970. (Повести ленинградских писателей).

Повести. — Л.: Лениздат, 1978.

На войне как на войне. — М.: Детская литература, 1987.

Осиновый край. Повести и рассказы. — Л.: Советский писатель, 1990.

На войне как на войне. — М.: Вече, 2010. (Победители).

На войне как на войне. Сборник повестей и рассказов. — М.: ЭКСМО, 2012. (Русская классика).

НАГРАДЫ

Орден Отечественной войны I-й степени.

Орден Отечественной войны II-й степени.

Орден Красной Звезды.

Медаль «За взятие Берлина».

Медаль «За освобождение Праги».

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»

